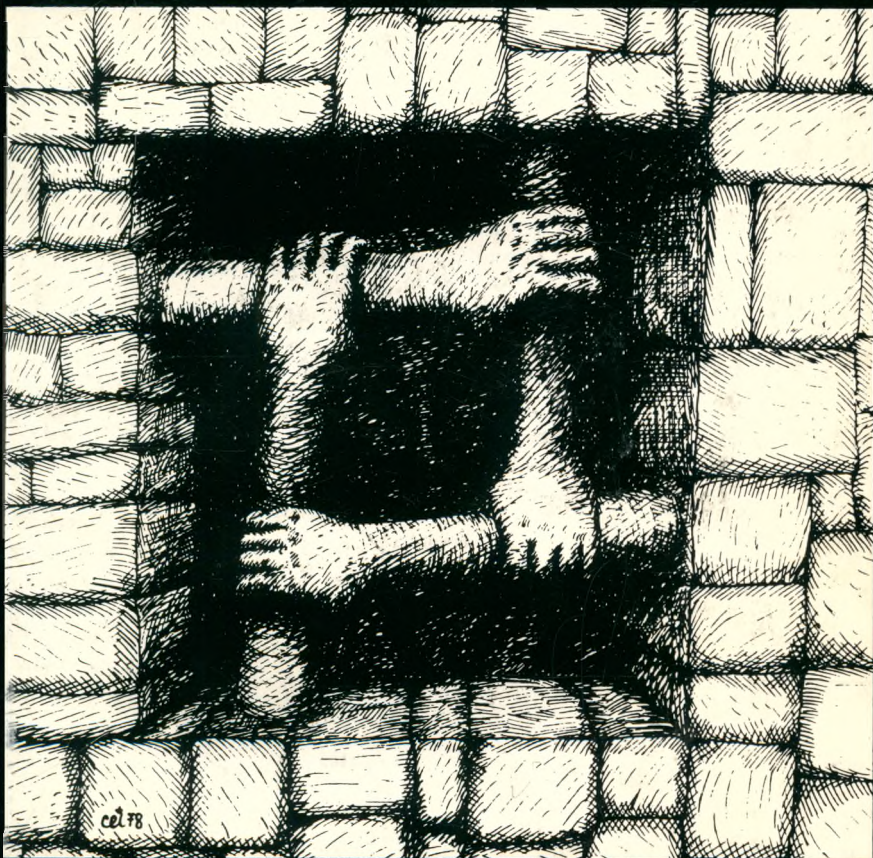


Вячеслав Сысоев



ХОДИТЕ ТИХО,
ГОВОРИТЕ ТИХО

Вячеслав Сысоев

ХОДИТЕ ТИХО, ГОВОРите ТИХО

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК
Март, 1983

Книга иллюстрирована работами Вячеслава Сысоева.

Редактор Александр Глезер

Художники Виталий Длутый и Григорий Капелян

На первой и последней странице обложки репродукции работ Вячеслава Сысоева "Единство" и "Посвящение Польше"

© Все права на русскоязычные издания сохраняются за издательством "Третья волна"

© Все права сохраняются за автором

Все права на распространение этой книги имеет "Russica Book Shop"

СВОБОДУ ВЯЧЕСЛАВУ СЫСОЕВУ!

В Москве арестован органами госбезопасности талантливый художник-карикатурист Вячеслав Сысоев. Его работы неоднократно демонстрировались на выставках в Москве и на Западе. Два года назад монография, посвященная художнику, вышла во Франции. Не раз писали о нем в Италии и в Западной Германии. Теперь, схваченный гебистами, Сысоев обвиняется в изготовлении порнографии. Эта выдумка не имеет ничего общего с действительностью. Просто власти решили осудить художника по уголовной статье.

Необходимо приложить все усилия для спасения Вячеслава Сысоева. Пусть каратели не надеются, что им удастся безнаказанно расправиться с талантливым русским художником. Уже создается международный комитет в защиту Вячеслава Сысоева, в который дали согласие войти русские, американские, французские и немецкие художники, писатели, общественные деятели. В "Музее современного русского искусства в изгнании" в Джерси Сити открылась выставка работ Сысоева.

Мы обращаемся к мировой общественности с призывом выступить в защиту арестованного русского художника.

Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Александр Глезер, Петр Григоренко, Зинаида Григоренко, Виталий Длугий, Валентина Кропивницкая, Анатолий Крынский, Эдуард Кузнецов, Людмила Кузнецова, Владимир Максимов, Лев Нуссберг, Леонид Пинчевский, Оскар Рабин, Александр Рабин, Виталий Сазонов, Вячеслав Савельев, Михаил Шемякин.

*Я посвящаю эту вещь всем моим знакомым,
кто помнит меня и помогает обороняться
от нечистой силы.*

В. Сысоев



Ты только посмотри, Господи, сюда: какое-то чудище, что до сих пор ни во что не верило, вдруг обращается к Тебе. Мелкий, уклеечный улов Тебе достался сегодня. Эгоист, который и страданий-то почти не познал, к Тебе сейчас обращается.

Из дыры в пункте И. мы идем в пункт Н. Ко мне приехал человек — а что у меня мог он искать? Нет в моей норе ни книг, ни записей, ни девочек: он приехал просто поговорить. Ты знаешь, я не пью, но вот сегодня решительно взял я в продмаге "Старку" — это наиболее неблеванное из ассортимента. Мы выпили, и я его провожаю. Довел его до пункта Н. и оставил, как он просил, а сам иду назад, в свое гнездо, где мне еще предстоит жить.

И на обратном пути — а что это за путь, Господи, смешно просто — 5-6 километров — я нашел Тебя.

Уже ночь, и все в этой полосе покрылось пологом. Луны нет, но полуокружье земное на сером небесном фоне видно отчетливо. Как Она говорила — Земля маленькая. Вот я взглянул вверх — Медведица чуть подвинулась и дорога крутится, в черной траве пропадая, а в голове шумит. Но ориентиром мне было чутье — как до норки дойти. И слева от меня лес, справа кусты и вдали — лес. Я где-то лесом пошел, только сучки и мешали. Смешно подумать, что кто-то ночью леса боится. А если атавизм вдруг заговорит, я его другим изымом зажимаю: чего же леса ночью бояться, когда днем и тихари могут засечь, и бабушки телевиками и воки-токами* вооруженные. Лес-то ночью самый друг — ласковый и черный. И так, раза два только в черную лужу только оступившись, я до дыры своей дошел.

*УКВ рация.

Да не обозлился за название для сей местности; если разобратся, то и не дыра вовсе, а место для возвышения, место для обсервации и для всяческого овеществления и установки личности.

А теперь я скажу Тебе все, как есть. Я сегодня говорил с человеком, и понял, что я счастлив. И вот почему. Ко мне человек приезжал — хороший, но он одинок. А я — нет. Я сейчас осознал только, что я не один, а это счастье. Много ли было тех, что шли не одни и которых понимали? Потом — понимали, и после смерти — возвеличивали, и в камне высекали. И были они тогда — уважаемы. Но скажи мне, при жизни многие ли могли быть счастливы, зная, что они не одни?

Ведь большинство — в одиночестве — и мнут, и автоматы берут в руки, или что другое делают — чтоб свою личность удовлетворительно выставить перед кем-то. А я сейчас не один, и это счастье. И пусть мне завидуют хорошей завистью и без злобы. Ни у кого я не отнимал, не подличал на сей раз — чтобы не одному быть. Через гадость и детсадовские кровати с бельдюгами на них прошел — и вот теперь ценю. Простится ли мне то, что я делал? Не знаю, но в силу своей слабости и эгоизма сейчас говорю: смотри, какой я стал! Я стал лучше, добрее — благословенно зло, через которое я к этому пришел! Я получил сейчас возможность мерить своею мерою — что хорошо, а что нет. Ты мне простишь, я как слабый прошу и слышу — Ты не откажешь мне. Все к Тебе через разное приходят. А мне совсем немного надо было. Ну подумаешь, полтора года дома не был, год сына не видел — мне этого достаточно оказалось, чтобы я вдруг многое понял ночью сентябрьской.

— А что сын? — сказала мне как-то Аида. — У меня сын — ему 14 лет — я его редко вижу — отец его, мой бывший муж, не позволяет встречаться. Когда я сына вижу, я чувствую, что он мне теперь чужой человек. Какие-то пионерские сборы, какие-то свои проблемы. Советский ребенок.

У меня сын, как все дети, и, конечно, его движение поступательное вперед зависит от воспитательного ража и взглядов его матери, с которой мы теперь совсем разные люди. Но пусть он будет честным в своем поступательно-стремительном развитии в новом году этой малоурожайной пятилетки. Пожалуйста, огради его от матерных слов детсадовских детей, что играют в понедельник в саду, чокаясь рюмками. Пусть он и часы разбирает, и фломастеры — но, пожалуйста, сделай так, чтобы им руководил инстинкт любопытства, а не садизма.

А ведь был случай, когда ему было 4 года. Вдруг подошел он к коляске у магазина, нашел окурочек и сунул его в рот младенцу, беспомощному, на четырех колесах. И главное, я пытался дознаться

у него, зачем сделал это — так и не сказал. Упрямый, весь в меня. Молчит, и все тут. Сделай, пожалуйста, чтобы упрямство вывернулось не внутри него, чтобы упрямством своим он в дальнейшем смог выправить кривую, что не туда вывести может. Дай разум и отцу его — мне, то есть, чтобы знал он, где прямая и серая, а где кривая, да белая. Сделай глаз мой адаптированным, чтобы всегда серое от черного отличал, как сегодня это было. Вот эта просьба и есть на сегодня. Я прошу немного — да ведь и смешно, чего же вообще просить — вроде бы все в моих руках — а вот пишу. А раз на бумагу ложится, раз пришло, значит, и нужно. И 33 буквы русского алфавита дают мне возможность сейчас высказать Тебе то, что копилось.



ПОДСТАВЬТЕ ТО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ

Я помню отца впервые — неотчетливо. Предвоенное лето. Мне три года. Смутно, через туман просвечивает: иду по песочку Рижского взморья, вода по щиколотку, рядом кто-то родной, надежный. Я долго иду, и вода не прибывает. Потом другая сцена: молочная. Совершенно чужая, враждебная, стерильная молочная. Сливки. Латышский мальчик (пластырь на щеке крест-накрест), аккуратно пьет из стакана сливки.

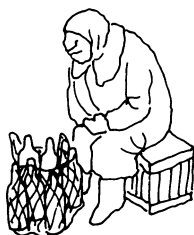
Отец мой работал на радио, входил в Латвию с войсками, что освобождали ее от ульманисовского ига. И потом: мать бежит со мной, а сверху что-то гудит, летит. Это война. Рижане тогда сразу же вдруг перестали понимать по-русски. Дворник дома, где мы жили, с торжеством в нерусском взгляде провожал самолеты с крестами. Уехали мы в последнем поезде. Помогла нашей семье Любовь Орлова — отец был уже на фронте, и только известной киноактрисе удалось добыть для нас местечко в последнем поезде, увозящем жен и детей ответственных работников. Потом эвакуация, Свердловск. Мгла, пурга. С бабушкой идем в магазин. Карточки у нее в варежке. Надо выстоять очередь. Впрочем, теперь-то я понимаю, что и тогда не испытал всего: лучшее было для меня, да и жили мы в Доме Правительства. И еще: как-то бабушка зашла в дом Ипатьевых, где был расстрелян Николай II с семьей.

— Боже, если бы кто знал, где будет конец династии, — вздохнула бабушка.

— Я пришел домой и высказался:

— Мама, а я знаю, где был конец тети Насти.

Если бы теперь подставить под имя Насти то, что вам нравится, скажите, был ли я так уж далек от истины?



ОКНО В ЕВРОПУ

Мой отец, Вячеслав Михайлович Сысоев, был настоящий советский человек. В те годы, когда меня не было, он пришел из деревни в Москву. Шел НЭП. Отец — видимо, из него выпирало, как и из сына после — начал писать. В силу своего крестьянского происхождения, он быстро пошел в гору. В период массовой коллективизации он работал в крестьянском сатирическом журнале "Лапоть", писал для "Крокодила" и для других сатирических журналов. Почему-то тогда их было много. Это сейчас-то остался один "Крокодил" — вилы на всю русскую часть России. Насколько я знаю со слов матери, отец никогда не отходил от линии партии, от сииминутной линии — я хотел сказать. Как говорят современные циники, он колебался вместе с линией партии. Может быть, это и спасло его от гибели. Впрочем, не исключая, что были и другие причины. Насколько я мог заметить, отец всегда был в личной жизни честен и мягок, даже слабохарактерен. В период великих чисток он работал на Всесоюзном Радио. Его влекла эта работа, он отдавал себя ей целиком. Среди корреспондентов радио он был очень известен. Он первым спускался на черноморское дно в водолазном костюме и с микрофоном — вел репортаж. Первый вел радиопередачу с Казбека. Во время парадов на Красной площади, когда на Мавзолее попеременно стояли рядом с Отцом Народов Ягода, Ежов, Берия, мой отец вел репортажи — вместе с несколькими радиожурналистами. Во время хрущевской оттепели он как-то признался мне, что каждый репортаж стоил ему очень дорого: около репортеров стояло по славному работнику Наркомата Внутренних Дел. Его знакомого взяли однажды прямо на площади: он эффектно закончил репортаж и махнул рукой радиотехнику: выключай, мол, микрофон. Тот замешкался. Думая, что связь выключена, знакомый отца сказал с облегчением: "Финита ля комедия!" Слова пошли в эфир, их слышала вся необъятная наша страна.

В другой раз, во время похорон Чкалова, что происходили в Доме Союзов, необходимо было срочно вести репортаж. Почему-то заранее на радио не подготовили журналистов, и репортаж мог быть сорван. Стали искать Сысоева. Приехали к нам домой из радиокомитета на "эмке". Нет отца! Мать сказала, что он у знакомых, празднует день рождения. Кинулись туда. Вырвали отца из пьяной

и веселой компании и привезли на похороны. Как потом говорили мне родители, они сами диву даются, почему отца не взяли в ту ночь: пьяным, веселым, оптимистичным голосом вещал он о трагической смерти Сталинского Сокола — В. Чкалова...

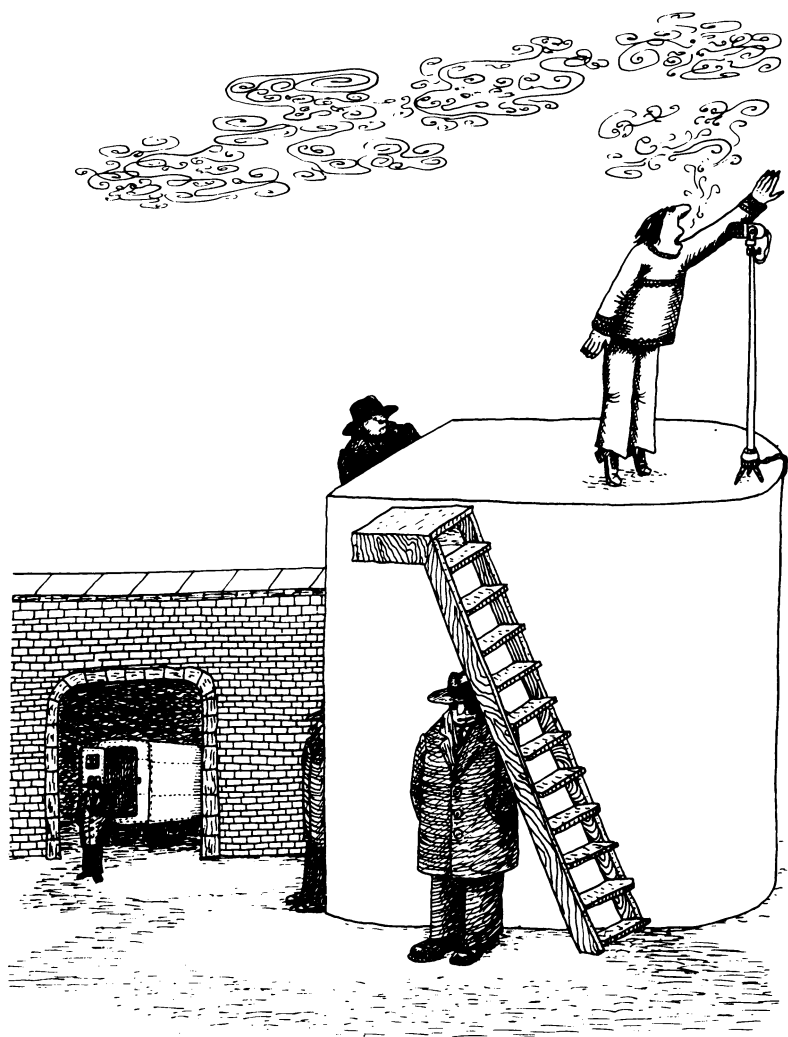
Было еще несколько моментов, когда жизнь нашей семьи и моя судьба могли повернуться...

Однажды, на Красной площади, в момент, когда из Спасских ворот Кремля выехал роскошный герой Буденный на белом роскошном коне, отец сказал в микрофон:

— На Красной площади появился товарищ Буденный! Вы слышите цокот его копыт!

Миновало и на этот раз. Шла война. Отец был военным корреспондентом. Потом, работая уже в "Труде", был официально аккредитован на Нюрнбергском процессе. В 1950 году он был направлен собкором "Труда" в Финляндию. Хочу напомнить, что Финляндия в ту пору совсем еще не была финляндизирована, как сейчас, и посылка туда корреспондента значила, что он очень, очень достойный человек, честный и нестигаемый. Вообще, сам факт, что родители мои поехали за границу, имел в те годы огромное значение. Ведь любое общение с иностранцами (пусть и болгарами, и монголами) было крайне опасно, а уж безумцы, которые где-то и как-то осмеливались сами, без ведома славных органов, познакомиться с ненашими гражданами, вполне могли считать себя самоубийцами. Одним словом, и в этом плане наша семья была вполне благополучна: папа и мама жили в Финляндии, а сын их с бабушкой — в Москве. Жизнь в Финляндии, видимо, была лучше той, что жили наши граждане. Достаточно сказать, что вещей, привезенных оттуда, нашей семье хватило на несколько лет. Отец очень не любил возить оттуда какие-то вещи — но что делать? Требовали родственники, да и сыночек подрастал. Я помню, что каждый раз, после очередного приезда, отец говорил: вот, я привез два чемодана — в одном подарки для друзей, да и из второго часть надо кому-то передать. Когда я открывал финский чемодан, пахнувший не по-нашему, я чувствовал, что есть еще кое-что на свете, кроме той серой и постылой жизни, которой жил я и окружающие люди. Мне было тогда лет 13. Я не понимал еще до конца, что преклонение перед всем иностранным — это страшный грех. Да как же я мог быть спокойным, открывая это окно в северную Европу? Да были ли спокойны и другие, кому назначались подарки из таинственной Суоми?

Как я мог быть спокойным, когда заранее знал, что в этом чемодане лежит то, что будоражит мое воображение? Можно понять, что я в тринадцать лет никак еще не мог быть "стилягой", борьба



с которыми уже началась. Я видел вещи, а раскрывалось мне другое — раскрывался мне мир.

Вот я открываю это загадочное окно: на меня пахнул чужой, роскошный, небывалый, ошеломительно визжащий мир: весь верхний слой — это американские сигареты "Честерфильд"! Они запечатаны глянцевитой пленкой, и через нее рвется наружу медовый (или нет?) дух!

Надо вспомнить, какие папиросы продавались тогда в киосках столицы, чтобы понять это! Сталинские Соколы курили какую-то там "Герцеговину Флор", остальные граждане — "Беломор", названный так в честь славного Беломоро-Балтийского канала им. тов. Сталина. И вдруг "Честерфильд"! У меня не было позывов к курению, но я украл одну пачку; вытащил сигарету и долго нюхал ее, наслаждаясь. Мне виделось почему-то пальмы и пирамиды, а совсем не обездоленная трумэновская Америка...

За слоем "Честерфильда" шли маленькие ярчайшие пачки, напечатанные возможно более крикливыми цветами. Я долго не мог понять, что это.

Спросить я не решался, ведь я лазил в чемодан тайком, а родители не очень-то хотели, чтобы я знал о содержимом. Однажды только, после чтения "Крокодила", где было написано по-русски — "чуинг-гам", я понял, что это было — жвачка! Весь второй ряд — жвачка! Но тогда я был в неведении.

Позднее, в следующий завоз, поняв, что эта ярчайшая мелкая дрянь и есть жвачка, я украл несколько штук и тайно сжевал все. Но поскольку жвачка и пресловутая кока-кола, вкупе с войной в Корею, Чан Кай-Ши, кровавым палачом Тито, маккартизмом и безродным космополитизмом были приравнены к семи смертным грехам, удовольствия от жевания я не получал. Я искренне опасался, что эта жвачка может как-то повредить мне. Как точно может повредить — я не знал, но боялся... Я сгребал эту заокеанскую отраву в сторону, и видел какие-то необычно яркие и не из такой материи, как у нас тряпки. Ну, тряпки меня не интересовали. Не глядя на них, шел дальше. Что это? Лежат какие-то коробочки, какие-то штучки ершистые, из чего-то сделанные, чего у нас нет... А тут что? Пузырек, там что-то желтое, с пеной. Прошло лет десять после этого, прежде чем я понял. Все эти штучки, но уже пустые, одни их оболочки, долго валялись у нас, и став более взрослым, я установил: это были тюбики гуталина, баночки для гуталина с какой-то шутовщиной сбоку, для облегчения открывания. Ершистые штуки неизвестно из чего оказались обыкновенными полистироловыми щеточками для мытья головы, а жидкость в бутылке — французским шампунем. Когда я однажды намылил голову этим шампунем, сидя в облупленной ванне нашей коммунальной квартиры, я почувствовал невыносимое, нечеловеческое блаженство. Я весь был покрыт пеной из этого пузырька, пена пучилась, невозможный, космополитический запах лез в коридор. Так впервые я узнал, что есть не только то мыло, что всегда я употреблял. Оказалось, что мыло должно мылиться и давать пену и даже запах.

Может быть, продукция ТЭЖЭ (косметика) тех лет принадлежала ведомству министра внутренних дел Лаврентия Павловича Берии? Может, мыло делали из этих гнусных безродных космополитов?

А дальше... Дальше шли ботинки. Я понял, что это — для меня. Было решено в предыдущий приезд родителей, что мне необходимы ботинки. И вот я держу их в руках. Малиновая невиданная кожа. Разве мог я, обычный московский заморыш, предполагать, что в мире, кроме черной и темно-коричневой, может быть еще и малиновая кожа? А подошва? Что это? Нет, не может быть... Это настоящий каучук! Так вот откуда этот запах! Это пахнет настоящий белый каучук! А снизу, на подошве... Что это... USA. Да может ли это быть? Вот только недавно я прочел в "Крокодиле", как какой-то наглый янки в "маршализованной" Европе задирает перед каким-то лакеем-президентом свои ноги в башмаках на белом каучуке! И сейчас — о, чудо — у меня точно такая же обувь?! Это событие меня выбило из колеи, я не мог снова углубляться в содержимое сказочного чемодана. Где-то отец оставил какую-то финскую газету. Вот она... Газета пахнет не по-русски, фотографии четкие, шрифт жирный, все броско, ярко... Читать, конечно, невозможно, но картинки... Политику пропустим, все равно не понять. По фотографиям не поймешь, где кто. Трумэна и Чан Кай-Ши только по карикатурам Кукрыниксов узнаем. А дальше... Реклама кино. Вот это да! Пистолеты, машины, перекошенные лица. Женщины! Сами худенькие, а груди как выпирают! Маленькие картинки, а все видно. В чулочках, в комбинациях — нет, это уже полный разврат! Отец не идет ли? Не дай Бог — увидит. А дальше... Ну, этого не понять. Люди что-то делают у каких-то красивых машин. А вот господин глядит — гладкий, ухоженный, сладко улыбающийся. Видно, капиталист. Опять реклама. Чего рекламируют? Дома. Значит, можно купить. Ну, нам это не подходит. Какие-то приборы... Какие-то полеты куда-то. Это все там, а здесь, у нас, это отбросить намертво, навсегда. У них — и у нас! И тут же, как сигнал, вдруг в голове слова отца и голос матери: они вторят друг другу, и все это для меня: "Мы думаем, что хотя на лето ты мог бы поехать с нами, пожить на посольской даче, но лучше этого не делать... Почему не делать? Ну, как бы тебе это объяснить. Не та обстановка. Финны очень злые. Нас не любят. Ходят с ножами. Как напьются — лучше не подходи, зарежут. Да и случаи бывали, н а н а ш и х нападали. Да и вообще — их окружение...

И вот теперь я воочию вижу в газете этот чужой для меня мир сытых, здоровых людей, рекламу, предлагающую что-то изумительно оригинальное, новое, необходимое! А где же финны с ножами?

Ага, понятно! Они скрывают в газетах ненависть к нам, открыто не показывают — боятся нас после войны!

Впрочем, надо закончить досмотр чемодана. Ящик. Ну, это я знаю. Такой же фанерный квадратный ящичек был и в прошлый раз. И надпись та же: "Фазер". Это швейцарский шоколад. Маленькие такие штучки, по размеру, как леденцы — необычайно вкусные. Это очень отличается от того, что я ем, когда к нам приходят гости или когда мы ходим в гости к Генеральше. Так я называю жену одного нашего знакомого, с которым отец познакомился на войне. Он полковник сейчас, но жена у него — генеральша. Спесива до необычайности, в доме пухляки и фарфор — вывезены из Германии, слоники, приемник "Телефункен", пианино. Где-то усвоила хорошие манеры: с прислугой и дворниками если и говорит, то только брезгливо морщась. С благоговением, конечно, поднимается из-за ломящегося от изобилия стола и выпивает стоя (мизинчик в сторону) за самого товарища Сталина...

Итак, что дальше? Еще шоколад. Еще. А тут? Завернутая в хрустящую бумажку коробка. Разворачиваю. Судя по весу и громуханию, в ней шоколад. Но это плевать! Важно что н а коробке. А во всю коробку — фото какой-то актрисы. Не знаю, кто это. Потом появилось в России для таких название — секс-бомба. Значит, так: чернявая головка, бледские влекущие глаза, полураскрытый рот и необычайно пышное раздвоение спереди. От одного края коробки до другого — груди. Под желтой кофтой. Но кофта — чушь. Она не может скрыть вырывающегося наружу неестественных размеров естества.

Нет, никогда мне не видеть никакой Финляндии! Если там шоколад в таких коробках продают, то как же меня туда пустят?

И с этой мыслью я, юный пионер, готовый всегда к борьбе за дело Сталина, согреваемый солнцем Сталинской Конституции (оно, солнце, проникает под вечер в окно нашей длинной, как кишка, комнаты), начинаю запихивать обратно барахло.

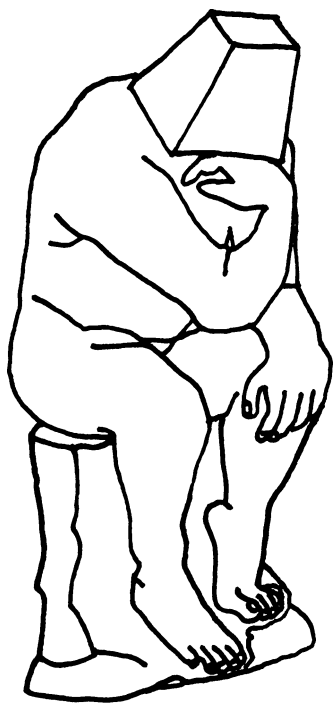
Долго потом я хожу, учусь, играю и рисую под впечатлением этого чемодана.

Ботинки радости не доставляют. Сидят они на мне хорошо. Но и я, несмышлениш, понимаю, что мое убогое пальцецо моспошива и какие-то чудовищно бесцветные брюки, пошитые какой-нибудь ударницей, ставшей на сталинскую вахту, никак не вяжутся с этими новыми, заокеанскими, крокодильскими подошвами. Да и в школе покоя нет. Сначала вся школа ходила на меня смотреть. А после, насмотревшись, стала злиться: зачем надел то, чего у нас нет? Выпендриваешься? Стиляга, что ли? В уборной несколько

известных хулиганов (я знал, что они ходят с ножами) собирались меня бить. Эти кандидаты в блатари подходили ко мне в уборной и били по моим малиновым красавцам своими черными каблуками, а после говорили мне:

— А ну, падло, вали отсюда. И больше не заходи!

Снял я свои ботинки. Уж больно плохо, когда ты чувствуешь себя парией. Да и общее отношение ко всему иностранному было тогда совсем не такое, как сейчас. Лаврентий Павлович, сталинский ЦК и лично товарищ Сталин успешно привили народу мысль, что все иностранцы — шпионы, а все наши граждане, любящие иностранное и иностранцев, и не посаженные п о к а за это — пособники подлых провокаторов и поджигателей мировой войны. Полностью разделяли это мнение и мои родители. Потому-то и не поехал я в Финляндию в нежном возрасте, потому-то и не смогла меня обмануть враждебная и липучая пропаганда...



Я ЗАДУМАЛСЯ

Летом 1953 года повезли меня отдыхать в местечко Ирпень, под Киевом, к нашим родственникам. У меня почему-то стала проявляться тяга к радио. Однажды, когда мы приехали с отцом в Киев и гуляли по Крещатику, отстроенному заново роскошными зданиями с колоннами, лепниной и прочими излишествами, я упросил его зайти в радиомагазин. Там я приобрел свой первый радиоприемник. В Ирпени я внимательно разглядел плоскую черную коробочку под названием "Комсомолец". Это был детекторный приемник. Меня восхитила простота конструкции: ящик с гнездами, 10-метровая антенна, натянутая меж деревьями, заземление — и все! Никаких батарей или проводов к электророзетке! Часами сидел я с наушниками на голове, водил рычажком по кристаллу... Можно было поймать Киев. Из какой-то брошюры я узнал, что самый лучший прием ночью. И вот однажды, когда родители заснули, я включил "Комсомолец" и, одев наушники, пустился путешествовать по эфиру. Сквозь треск и завывание я вдруг услышал очень четко и громко какие-то фразы по-русски. Это был явно не Киев. Русские дикторы

киевского радио говорили мягко, певуче. Этот же голос был очень четок, резок, слишком правилен.

Я услышал вдруг:

— Дети колхозников и рабочих не могут ездить в пионер-лагерь Артек, так как там отдыхают дети чиновников и сотрудников МГБ... Вы слушаете передачу "Голоса Америки".

Я подпрыгнул на постели, сорвал наушники, громко позвал:

— Мама! Папа!

Они тут же проснулись:

— Что случилось?

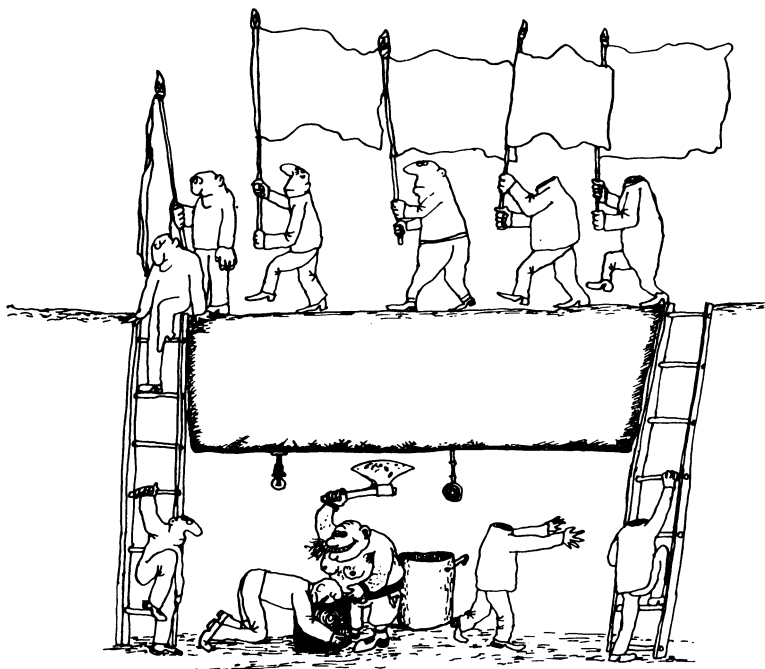
— Я только что поймал "Голос Америки"! Они сказали, что дети колхозников не могут ездить в Артек!

На следующее утро я попытался осмыслить то, что услышал.

Вот, наконец, своими ушами услышал я "Голос Америки". Это чрезвычайно редкое событие. Все взрослые говорят, что уже несколько лет этот "Голос" и какую-то таинственную Би-Би-Си глушат по личному указанию самого товарища Сталина — и правильно делают!

До этого я читал в газетах и слышал от диктора Левитана по радио, что, действительно, они там что-то врут на русском языке, яд выпускают, разбрасывают журналы "Америка", визжат и подвывают в эфире. Надо бы, — думал я, — как-то услышать, а как именно они врут и воют. И вдруг мечта воплотилась. Меня несколько смутило только, что голоса дикторов, которые я успел поймать, совсем не визгливые... Врут, конечно, неправда это о нашем солнечном Артеке, — но как врут! Как красиво они это говорят, как убедительно! А что, если... Нет! И хотя сам я никогда не был в Артеке, но вера в слова моих родителей, вера в то, что у нас — правда, и в "Правде" настоящие, без обмана, портреты Самого Великого с гениальными изречениями о Счастье, Свободе и Борьбе За Мир, — все это убедило меня в мысли — конечно, они врут. Как это не могут дети в Артек поехать? Я сам видел снимки счастливых, загоревших до черноты, улыбающихся детей в белых панамках, в галстуках, с горнами и барабанами. Не рабочих и крестьян дети? А кого же еще? А что, есть у нас и какие-то другие дети? Успокоенный мыслью о лживости "Голоса Америки", я хорошо отдыхал, ходил на речку Ирпень, где впервые в своей жизни вдруг наловил много малюсеньких бычков. И вдруг однажды, июньским утром 1953 года, я заметил, что родители чем-то встревожены. Отец держал свежую "Правду" (не знаю уж, как он ее получил). В это время в доме отдыха рядом с нами забубнил динамик. Отец тут же взял меня, и мы пошли в направлении радиоголоса. У дина-

мика собрались отдыхающие. Сочный, мужественный и тревожно-убедительный голос Левитана разносился вокруг. Мы узнали чудовищную вещь: оказывается, Лаврентий Берия, министр МВД, тот самый, что стоял всегда на Мавзолее рядом со Сталиным, а после стоял в день похорон Иосифа Виссарионовича рядом с Хрущевым и Маленковым, оказывается, этот Берия – враг народа!



Отдыхающие все прибывали. К репродуктору неумолимо тянуло и местных.

...Матерый провокатор и двурушник, авантюрист и преступник, он, оказывается, был и английским шпионом, выдал этим англичанам 26 бакинских комиссаров!

Люди стояли потрясенные. Я чувствовал, что у меня внутри что-то сдвигается. К счастью, я не знал, что значит расти без расстрелянного отца, не знал, что такое лагеря ЧСИР (лагеря для членов семей изменников родины), но у меня что-то передвигалось в груди и билось учащенно мое честное пионерское сердце. Отец был бледный и потрясенный...

События 1953 года заставили меня задуматься, что есть что. Своими прямыми, как пионерская линейка, извилинами, своим неиспорченным финскими излишествами сознанием, я пытался себе внушить:

— Все хорошо! Видишь, вот есть плохие люди, и их разоблачили.

Но тут некий нехороший внутренний голос мне говорил:

— Да, как же хорошо! Несколько месяцев прошло, как славные органы, возглавляемые лично Лаврентием Павловичем, разоблачили врачей-вредителей и убийц в белых халатах. Говорили, что все эти врачи — евреи и хотели отравить чуть ли не самого Великого Вождя Всех Народов. Так это теперь или не так? Лаврентий Павлович — член правительства, депутат Верховного Совета, соратник товарища Сталина. Как это может быть, что все кругом проглядели? Да и как же сами органы МВД? Ведь в этом ведомстве работают наши славные чекисты-разведчики. Как же могут чекисты сейчас работать и разведывать в Америке, если их главный начальник Берия — английский шпион? Ведь англичане на поводу у американцев, а Берия уж обязательно сообщал англичанам о наших разведчиках...

Много подобных мыслей роилось в моей голове. Так и не построил я для себя стройную систему выводов, что помогла бы мне снова приобрести равновесие. А тут еще стали вспоминаться события трехмесячной давности...

МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ЗАДАВИЛИ

Зиму и весну 1953 года я жил у тетки, родители находились на своем посту, во враждебной и разжиревшей Суоми. В самом начале марта все вокруг встревожились — было помещено сообщение о болезни товарища Сталина. Музыка по радио была какая-то, не сказать — мрачная, но довольно тихая, и даже суровая, сдержанная. Иногда диктор вдруг начинал спокойно зачитывать сообщение о болезни тов. Сталина. Впрочем, пульс и все остальное было в норме у Вождя Народов.

Рано утром, пятого марта, я проснулся от резкого толчка. Надо мной склонилась тетка. Ее плачущий голос и залитое слезами лицо заставили меня буквально скатиться с раскладушки, на которой я спал:

— Вставай, Сталин умер!

Я не помню точно, как прошло утро. В школу я, конечно, не пошел. Включенный на всю мощь репродуктор хрипло разносил рвущие душу рыдания траурных маршей. Прерывающийся голос Левитана (только он мог таким скорбным голосом сообщить о смерти, только он!) снова и снова повторял:

— Скончался... выдающийся... Иосиф (и пауза) Виссарионович... (и пауза) Сталин.

И само слово это — Сталин, с придыханием в начале и роковым понижением на втором слогe — Ста-лин — запало в душу навсегда. Да и как он мог сказать это по-другому? Ведь именно его, еврейского прыщавого юношу, неказистого, принятого на радио из-за своего необычайно убедительного, красивейшего тембра, голоса, именно этого Левитана, как и многих других из низов, со дна, подняла волна сталинских пятилеток!

Этим голосом, то трагически размеренным, то с громовыми, победительными раскатами, паузами, придыханиями и ударами на нужных словах, жила советская страна! В этом голосе воплощалась в народе вечная мечта — чувствовать, что ты кому-то нужен, что есть, есть тот, кто тебя ведет, есть тот, кто знает все, чего не знаешь ты, и кто знает о тебе все! Голос Левитана делал нам историю, голос Левитана внушал надежду. И в дни, когда рябой азиат бежал из Москвы, узнав, что друг Адольф обманул его (как фрэера наколот!) голос Левитана вселял веру, что не все потеряно, не все!

А уж когда переломилась война, и пошла стальная лавина на Запад, и вовсе стал он, этот Голос Левитана, равняться в русских сердцах с отцом, что воевал или лежал, пробитый пулями и зарытый. И гром салютов, и названия захваченных городов, и фамилии пленных паулюсов, и перечисления трофеев, все это сплелось у народа в одно — голос Левитана — это Кремлевский Голос.

Кавказский акцент Великого Вождя превращался в черных бумажных репродукторах в дивный и твердый голос Левитана.

И вот тот, кто всегда сообщал нам о победах, а иногда просто в "Последних известиях" рассказывал о китайских народных добровольцах на Корейском полуострове, он сейчас терзал нас.

Его голос проникал в меня до внутренностей, руки тряслись, сердце останавливалось и все холодело!

Умер Сталин... Весь день мысль была одна: как же дальше жить? Да и можно ли будет жить? Позже я узнал, что эта мысль не покидала и многих взрослых. Пишу м н о г и х, а подразумеваю тех, чьей судьбы не коснулись желтые клыки под прокуренными кавказскими усами.

Уж, конечно, те, что гнили по лагерям или стояли в очередях с передачами, не сокрушались об этой утрате. Но о б ы ч н ы е люди в этот день были полумертвы. Я говорю о б ы ч н ы е, и подразумеваю под этим тех, кто ничего не знал и всего боялся. Эти люди строили, пахали, жили в голоде, воевали и умирали, думая, что все это происходит с ними только потому, что есть Он, великий, родной, ъ ласковым прищуром. И вот его нет! Как же теперь жить? Да и кто же теперь прикрикнет, как бывало, и приголубит? Кто же (найдется ли?) сможет так ясно и убедительно доказать, что жить нам стало лучше, что жить стало веселее?

Тот, кто всю войну не спал, дымил своей родной трубочкой, тот, кто дошел до Берлина, кто разгромил немца (а фюрер издох и сожжен своими), тот, кто так успешно боролся за мир, не забывая ковать оружие против нагло-американских империалистов, он больше никогда, никогда не будет стоять на Мавзолее!

Может ли такое быть?

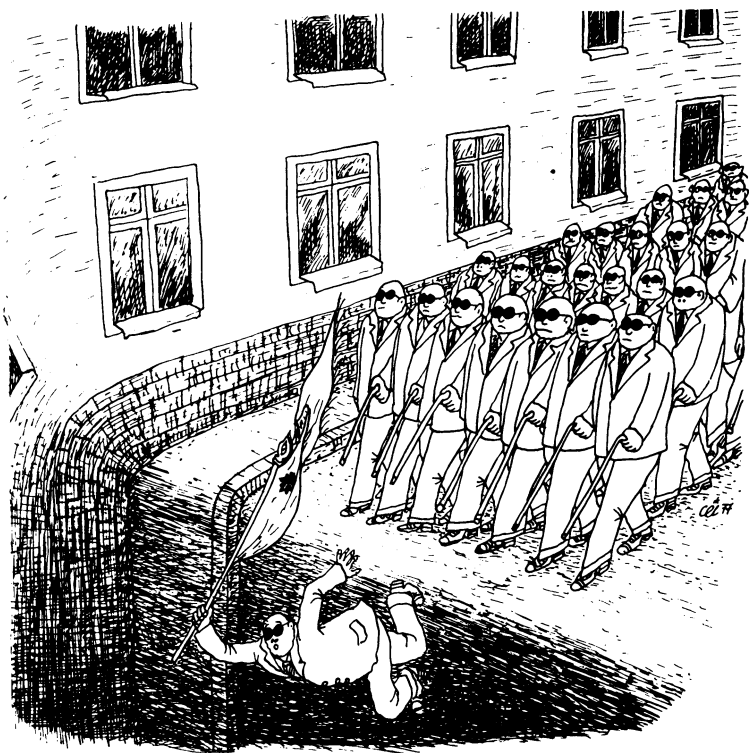
На следующий день утром я пришел в школу. Пришибленные, заплаканные учителя отпустили всех. Вся Москва знала, что Он выставлен в Доме Союзов, что туда нужно идти. Мы, вместе с приятелем, ринулись на похороны. Весь центр бурлил. Серая масса съездившихся людей в черных пальто и ушанках, серых платках, металась по улицам, пытаясь прорваться к Дому Союзов. Было холодно, морозно. Всюду были выставлены милицейские цепи. На подступах у Дому Союзов, особенно на Петровке, и у самой Пушкинской улицы милицию заменили солдаты. Военные грузовики стояли

поперек улиц, перекрывали перекрестки, блокировали проходные дворы. Шныряя меж зазевавшихся солдат, ныряя меж колесами мощных ЗИС'ов, нам удалось пробраться на улицу Горького. Отсюда мы надеялись пробраться проходными дворами до Пушкинской улицы. Тут мы с приятелем потерялись, и дальше я шел один.

Я оказался перед цепью конной милиции и солдат, что перегородивали улицу Горького около магазина "Грузия". (Напротив теперь находится гостиница "Минск").

Чудовищная толпа, медленно передвигаясь перед цепью конников, бурлила, водовороты возникали там и сям, вдруг вскрикивала истерично какая-то женщина, и снова слышен был только гул. Очень четко над черной массой возвышались фигуры в синих милицеских шинелях. Красивые лошадиные морды задирались над толпой, иногда милиционеры вдруг горячили коней, и те взвизывались над головами с ржанием и позвякиванием удил. Толпа не была спокойна. Если кто наблюдал за нею с верхних этажей домов, он мог бы заметить некоторую периодичность ее движения. Вот в середине толпы возникал вдруг бурун. Ширясь, превращался бурун в круги. Круги расходились из центра, увеличиваясь, и вот уже ближайшие к военно-милицеской цепи оказываются прижатыми к милицеским туловищам. Военные, схватившись локоть в локоть, с багровыми от напряжения лицами, изо всех сил выгибая вперед грудь, сдерживали натиск.

Вдруг раздавалась панически громкая команда, и стоящие за этой цепью солдаты начинали напирать сзади на своих товарищей, помогая им сдерживать толпу. Конные в синих шинелях снова поднимали коней на дыбы. Повернувшись задом к толпе, красивые сытые звери взбрыкивали, поводя безумным красным глазом, прядая ушами и бросая хлопья пены с губ на черные пальто и шапки. Волна, исходящая от отступающей в страхе толпы, шла назад, к эпицентру, и дальше — в обратную от охранительной цепи сторону. И еще, шли волны — туда, обратно, туда... Люди в толпе были так поглощены своим желанием прорваться к Дому Союзов, что не замечали, как волны эти буквально переносили их с места на место. Валялись под ногами галоши. Грязь и снег от сотен ног, переступавших по мостовой и тротуарам, не давали возможности толпе передвигаться быстро. Крики женщин и детей (были и дети в толпе!) усиливались. Нервные гортанные команды только подогревали толпу. Лошадиные крупы и копыта, направленные на толпу, начали вызывать ропот. Какие-то субчики с быстрым взглядом, в кепочках с разрезом, в сапогах и шелковых шарфиках, мелькали тут и там. Толпа колыхалась, буруны возникали все чаще. Вот раздался чей-то громкий крик, а вслед за ним — свист. Побежал тип с челкой,



в сапогах. Потом-то я сообразил, что это и были блатари. Видно, все блатные Москвы были в те дни на улицах. Помню, мне бабушка потом рассказывала, что г о в о р и л и, будто бы это тоже было вредительство, будто бы блатных настроили. Понятное дело, враги народа настроили! Те самые, которых блатари в лагерях за мясо не держали и проигрывали в "сику"...

Я сумел пробраться почти до оцепления. И тут же увидел: из отступившей толпы вдруг вырвался маленький, черный, вертлявый, наглый, в сапогах блатарь и метнулся к милицмейской лошади. Неуловимое движение — и лошадь с оглушительным ржанием взвилась в воздух. Видно, подученный врагами народа блатной всадил в нее шило. Всадил, и тут же растворился в толпе, растекся. И вдруг... толпа засмеялась! Это был истерический смех. Те, что стояли дальше и не видели происшедшего, молчали, но многие смеялись. Милиционер, красный от конфуза и злости, повернулся с лошадью вместе задом к толпе и пошел на нее, матерясь. Толпа отступила, но тут же, выдавливаемая на старое место водоворотами, снова приблизилась к злополучной паре. Раздался снова хохот, и тут же — разбойный свист.

Вдруг выскочил из толпы военный. Красные от слез глаза его смотрели на толпу неотрывно. Он поднял руки и закричал:

— Стой! Товарищи! Что вы делаете! В такой день! — и голос его прервался, он зарыдал. Мгновенно толпа замолчала. Видимо, в этот момент — неожиданное всегда расслабляет — мне и нескольким мальчишкам удалось нырнуть под лошадей и меж цепями прорваться вниз по улице Горького. Я очутился на Советской площади. Там цепей было больше. Стояли, кажется, и грузовики. Толпа была огромна. Постепенно меня ее приливами и отливами прижало к огромному дому напротив Моссовета, где теперь расположен сотый книжный магазин.

Когда толпа надвигалась на меня, я пытался как-то сжаться, выскользнуть. Потом вдруг волна сбегала, и чувствовал, что меня тянет в водоворот куда-то к середине улицы. Здесь уже стоял сплошной крик. Кричали женщины. Кричали солдаты и милиционеры. Свистели блатные. И вот — я почувствовал это — толпа начала медленно давить меня. Выброшенный чьей-то рукой, я оказался прижатым к витринному железному ограждению. Еще! И еще! Новая волна ударилась об меня, и я почувствовал, что мои кости трещат. В буквальном смысле. Я нырнул и оказался между витриной и оградительной железкой. Это меня и спасло. Что было потом, я не помню. Как добрался до дому, не помню. На следующий день я снова попытался прорваться на похороны. Только решил не испытывать больше судьбу и не купаться больше в толпе. Проходными дворами, пробираясь мимо солдат и милиции, я почти дошел до Пушкинской улицы. Я видел все: видел оцепление, что стояло по всей улице, вплоть до Дома Союзов, толпу черно-серых людей, что шли то медленно, то почти бегом, повинаясь командам. Но я не мог оказаться на самой улице. Я смотрел на все это из проходного двора, отгороженный от толпы высокими, наглухо закрытыми воротами...

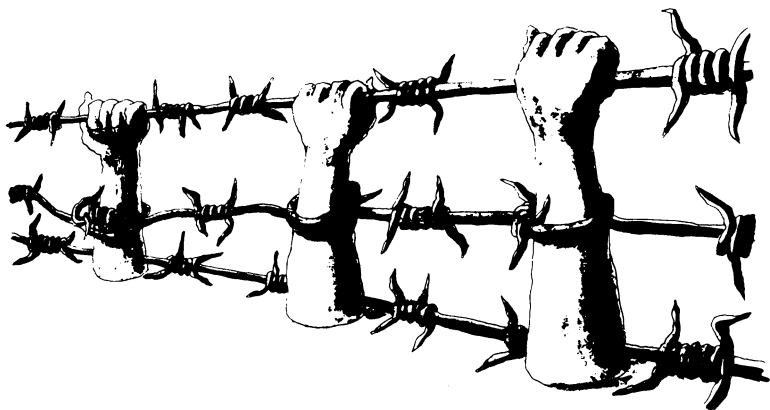
То, что я увидел, сохранится в памяти на всю жизнь. Никогда больше не будет таких похорон. Я видел слезы людей, не знавших, что они жаждут увидеть своего палача. Я видел плачущих военных и растерянных милиционеров. Я видел истоптанные шапки и раздавленные галоши. Я видел блатных, что вышли пожить, когда и х пахан дал дуба. И все это, вместе взятое, так похожее и непохожее на то, что я читал перед этим в газетах и смотрел в кинохронике, потрясло меня.

Слезы и крики, и безумный смех, и снова слезы и всобщая растерянность — как не укладывалось это в обычные рамки. А у Петровских ворот по-прежнему беззаботно светилась красная реклама:

”ПЕЙТЕ СОВЕТСКОЕ ШАМΠΑНСКОЕ!”

А радио разносило по всему миру слова поэтов, писателей, прогрессивных деятелей Запада и Востока, Поля Робсона и Мао Цзе-дуна, Степана Щипачева и Шолохова: "Сталин с нами! Сталин умер, но он в наших сердцах! Сталин будет всегда!"

И все, кто избежал на практике познакомиться с великим сталинским правосудием, говорили себе: "Он с нами! Мы с ним!" И все плакали, и умирали, и воскресали со словами: "Он вечно будет в наших сердцах!"



ГДЕ ТВОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ?

Все тянет меня к прошлому, тянет. Все притягиваю за уши к своим делам известных личностей. Вот все кажется, что Владимир Высоцкий обо мне поет:

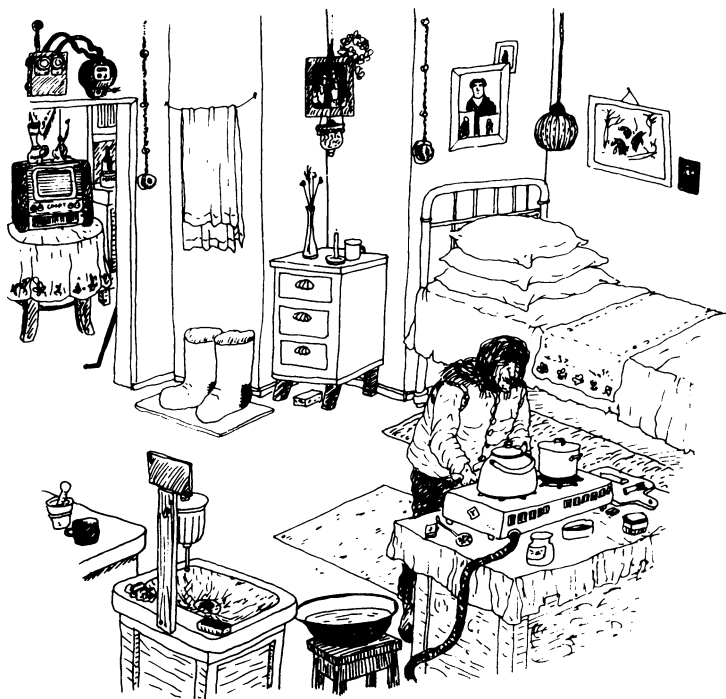
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном!

Я ведь действительно родился и семнадцать лет жил на Большом Каретном. Пистолета не было. Но хулиганья и шпаны вокруг было навалом.

Серое убогое клоповно-тараканье шестизэтажное здание вмещало все: грязь, нищету, чванство второразрядных сталинских чиновников. Жила в нашем доме и шпионка — наряду с работниками органов. Шпионка появилась в конце войны. Обитала она неизвестно как, под лестницей. На трех квадратных метрах, отгороженных от проходящих фанерными листами. Профессия шпионки была — нищенка. Помню точно: кончилась война, серые, в серых платках и черных ботинках люди идут по Каретному. А у подъезда нашего дома стоит нищенка. Вся малышня пугалась ее. Она стояла совсем беззвучно, старая и уродливая женщина с окаменелым лицом. На голове ее была какая-то интеллигентская шляпка с дырками, а рука, протянутая к прохожим, мелко тряслась. Так стояла она года три. И вдруг исчезла. Моментально по всему Каретному разнесся слух: шпионку поймали! Сообщали даже подробности — в кусках хлеба, которые ей подавали, были шифровки...

Что касается шпаны, тут надо заметить, что по всей Москве тех лет шло соревнование — в каком районе ее больше. Обитатели Каретного, естественно, считали, что шпаны и хулиганья именно у нас больше всего. Особенно горды были обитатели дома 19, именно там свирепствовал один малолетка. Звали мальчика — Топтов, кличка была — Мизер. Этот юный блатарь пользовался покровительством взрослых уроков. Среди бела дня он мог подойти к кому-то и потребовать денег. Брал, правда, немного. Так, чтобы не могли приписать грабеж. Папа этого юного упыря работал в органах Лаврентия Павловича Берии. Все, конечно, знали это, и мальчику все сходило с рук. Были у нас и другие приятные личности:

длинный, с приклатненными повадками, и ходивший уже в сапогах (блатной шик!) Устя. Его папа работал шофером на Петровке 38 — водил "воронок". Родители мои всеми способами изолировали меня от дворовой компании. Результаты сказались очень быстро — меня стали презирать. Во двор я почти не выходил. У шпаны свои игры.



Очень может быть, что эта бабушка скоро получит для себя, внука и его жены новую двухкомнатную квартиру...

После смерти Отца Родного произошли в Каретном кое-какие перемены. Пропал куда-то отец юного упыря Топтова. Часть блатных замели. На углу Садовой и Большого Каретного заселили иностранцами огромный дом. Тут я впервые увидел с замиранием сердца, как работают наши славные разведчики. С лестничной площадки последнего этажа нашего дома хорошо проглядывалось иностранное гнездо — центр шпионажа, диверсий и провокаций. И вот около огромных грязных окон, на захарканной площадке, днем и ночью

топтались две фигуры. Нравы в органах были тогда простые: сотрудники ходили в форме, не снимая ее даже на заданиях. По крайней мере, те сотрудники, что следили за иностранными шпионами с высоты нашего шестого этажа. Они просто накидывали поверх формы черные драповые пальто. Сверкающие сапоги не должны были, по их мнению, привлекать внимание. Насвистывая "мне сверху видно всё, ты так и знай" — веселенькую сталинскую мелодийку — топтуны звонили в нашу квартиру. Потом, стоя в углу коридора, быстро набирали номер телефона и торопливым шепотом что-то докладывали. Жители нашей коммунальной квартиры благоговейно относились к мужественным разведчикам и старались всемерно способствовать совершению ими каждодневного подвига. Никто не выходил в коридор, когда топтуны звонили. Никто не задавал вопросов, почему кто-то топчется на площадке. Все всё понимали.

Уехали мы с Большого Каретного неожиданно. Как-то папа привез из Финляндии всякие штучки-дрючки. Всякие бытовые удобные мелочи. Наш руководитель Никита Сергеевич, только что пришедший к власти, очень хотел показать, что и мы не лыком шиты — дескать, будем их догонять, перегонять и закапывать. И вот номенклатура дала указание всяким нашим гражданам привозить с Запада всякую удобную дребедень — чтобы наладить выпуск тут таких же отечественных изделий. И вот папа привез несколько красивых финских пакетов со всякими баночками, железками и т.д. И к нам прибыл один из помощников Хрущева. Этот аппаратчик был совсем свежий, он не успел забуреть. Он вошел в нашу комнату. Был он, помню, в каком-то не нашем костюме. Подстрижен был как надо. Сзади снято, височков нет. Он вошел в комнату и ужаснулся: "Вы живете в таких условиях?!"

А условия у нас были самые нормальные: в комнате в 18 квадратных метров жили четыре человека. У отца и матери был, правда, туберкулез. Но в общем, все было, как у всех. Помощник Никиты Сергеевича очень расстроился, что преданные люди так плохо живут. Скоро мы переселились в роскошный дом на Калужской заставе.

Опять, опять тяну за уши великих! Но что делать? Именно этот полукруглый, с фигурами наверху, ведомственный дом строил Александр Исаевич, именно его-то и описал в "Круге первом".

Нет больше Большого Каретного.

Переименован он теперь

.....

И все-таки — где бы ты ни был

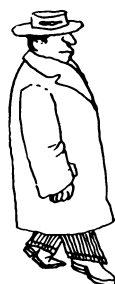
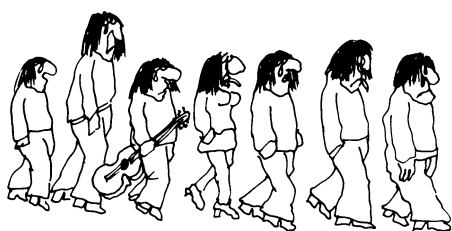
Где ты ни бредешь —

Нет-нет, да по Каретному

Пройдешь...

Года четыре назад я шел по бывшему Б. Каретному рядом с прелестной девушкой, француженкой. Танечка работала и жила как раз в иностранном шпионском гнезде, рядом с моим бывшим домом. И вот, через 22 года я шел мимо своего подъезда в гости, в иностранное развратное гнездо.

Меня так и подмывало подняться на шестой этаж и взглянуть, стоят ли там дяди в сапогах и драповых пальто. Но не стал я этого делать. Было у Танечки мало времени. Мы вошли на территорию шпионского гетто, и милиционер пристально и запоминающе посмотрел на меня. Потом поднял трубку и куда-то позвонил...



ГИД СВАТКОВСКИЙ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Помните ли вы, москвичи, то знаменательное событие, что произошло через три года после разоблачения так называемого культа личности?

Помните ли вы американскую выставку?

Открыв свое маленькое окошко во внешний мир при помощи отцовского чемодана, я смог пролезть в дверь, что приоткрыл нам Никита Хрущев!

Помните ли вы киоски на выставке в Сокольниках летом 1959 года? Там раздавали бесплатно пепси-колу. Мы уже знали тогда, что этот напиток, схожий с кока-колой, совсем не обязательно должен отравить нашу душу. Приходили к американским девушкам, отпускающим пепси-колу, люди с бидонами. Уходили довольные, бережно неся заокеанскую жидкость. Другие осторожно пили ее у киосков. Некоторые морщились, выплескивали на тротуар. Ругались матерно. Толпились около гидов, что рассказывали о преимуществах американского образа жизни. Гиды отвечали на все вопросы. Даже на самые враждебные. Даже на вопросы, почему у них негров вешают. И все это так ловко у них получалось, что вроде бы все у них хорошо, даже если и плохо. Стояли люди. Потели. Слушали. Спрашивали. Думали. Отходили и снова подходили. И не боялись задавать вопросы! И это все через шесть лет после смерти Сталина! Я слушал одного гида и спросил потом его фамилию. Мне хотелось знать — не русский ли он. Оказался русский, по фамилии Сватковский. Из-за этого гида меня и взяли на учет Органы. Нет, нет! Никто не фотографировал меня, когда я стоял рядом с ним, никто не уличал меня в недозволенных контактах. Я сам во всем виноват. Я написал письмо одному своему родственнику в Сибирь. Он, молодой журналист, только что кончивший МГУ, уехал в Сибирь жить и работать. Он писал статьи о трудящихся крупного индустриального центра. Я написал ему письмо, очень откровенное. Эта выставка произвела на меня сильное впечатление. Я начал тогда интересоваться живописью и вдруг увидел воочию современное искусство: картины Поллока и Ива Танги. Я написал в Сибирь то, что я чувствовал в момент, когда заходил в павильоны. Я писал, что мне все надоело и я хотел бы жить к западу от линии Мурманск—Ужгород. Прошло время. Ответа я не получил. Письмо, как оказалось, попало не по адресу. Его вскрыли случайно в каком-то сибирском общежитии.

Потом отдали почтальону. Тот прочел и отдал милиционеру. Тот прочел и отдал в местные Органы. Там переполошились и отправили письмо в Москву. И вот в Москве, в начале 1960 года, вызвали на допрос автора письма, а также моего отца — он в это время работал редактором отдела культуры газеты "Труд" — и секретаря парторганизации "Труда" Н.

Отправились на Лубянку на служебной машине из "Труда" — папе подавали к тому времени персональную "Волгу". Никто не знал, зачем вызывают. Прошли сталинские времена. Все знали, что не сажаят. А если и сажают, то мало. Но было тревожно на душе. Я мысленно перебирал свои преступления. Но вроде бы не было ничего такого...

Отдали паспорта в здании на Малой Лубянке. Взамен получили пропуска. И мы вошли в огромное здание Органов.

Беседу со мной вел полковник с седыми висками и ласковым прищуром. (В жизни, как в детективе). Он поинтересовался у отца, как он мог воспитать такого негодяя. Потом спросил у меня, действительно ли я хочу жить к западу от обозначенной в письме линии. Многословно и путанно, угрюмо глядя в пол, я объяснил, что в момент написания у меня болел желудок.

Несмотря на разоблачение культа, портрет Великого Гения висел над полковником. Впрочем, были и другие портреты. Сталин смотрел на меня пронзительно. Казалось, еще секунда, и добродушно приподнятая бровь его нахмурится, отеческая улыбка превратится в оскал и он скажет:

— Арестовать и расстрелять! Со всей семьей!

Секретарь парторганизации нервно ходил по кабинету, стараясь не ступать на бордовую ковровую дорожку и кричал, обращаясь к отцу:

— Вячеслав! Я знаю тебя со времен войны, знаю как настоящего коммуниста! Как ты мог воспитать такую сволочь?!

Никто не знал этого. Кончилась беседа добрым напутствием. Я хотел забрать письмо, но полковник сказал:

— Оно полежит у нас. И запомните, Вячеслав, что лет восемь назад так вы бы отсюда не вышли.

И был этот полковник совершенно прав. Лет восемь назад за письмо знакомому с описанием американского образа жизни я бы не вышел... А гид Сватковский так, видимо, и не узнает никогда, что своим рассказом он помог мне лишний раз убедиться, что процесс демократизации в те годы все усиливался и усиливался.

СУМАСШЕДШИЙ ИОСИФ

Иосиф всем знакомом давал клички. Были у него девушки: Приська (он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли), Дылда, Егоза, Белая Вошь, Биссектриса. Среди знакомых мужского пола были Ушной Доктор, Маленков, Бухгалтер, Гитлер... Иосиф — настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Всегда и всем он заявляет:

— Я сумасшедший! Я никогда не работал. Я получаю тридцать рублей.

Его сумасшествие заключается в том, что он непрерывно об этом говорит. Его мама работает в одном очень высоком учреждении. Насколько я мог понять в те годы, когда общался с Иосифом, она давным-давно махнула на него рукой.

Иосиф очень удобно живет — в самом центре Москвы. Куда ни пойдешь — обязательно к нему придешь. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него — ночная жизнь. Часов до трех ночи он крутит приемник, пытаюсь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Ося гостей в рваной белой ночной рубаше. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин.

— А, сволочь, доносчик, опять пришел! — кричит он. Это значит, что Ося в хорошем настроении и ему приятно меня видеть. — А ну, показывай, куда зашил микрофоны, — продолжает возбужденно кричать он, щупая мое пальто.

В комнате Иосифа спертый воздух. Форточка не помогает. На огромном приемнике приклеены фотографии Элвиса Пресли. Иосиф идет на кухню ставить чай. Бабушка в это время делает для нас бутерброды. Чай Иосиф заваривает сам. Войдя с маленьким чайничком, он внимательно смотрит на меня и спрашивает:

— Микрофоны проверил? Пленки сменил?

Это наша обычная игра.

— Нет еще, — отвечаю я. — Вот сейчас пойдешь бабам звонить, я и сменю.

После чая Ося показывает мне обновки. Не следует думать, что жизнь сумасшедшего удручающе однообразна. У Оси не слишком много свободного времени. Если к нему никто не приходит, он идет на улицу. Идет по рынкам. Причем он обходит рынки пешком,

тратя на это несколько часов. Там, в убогих комиссионных магазинах, он находит вещи за чудовищную, сказочно низкую цену. Он покупает пальто за три рубля, брюки за четыре, ботинки за пять рублей. Ося обходит продовольственные магазины в поисках ливерной колбасы за 32 или 64 копейки (за кг) или рыбного студня. Иногда Ося идет в "Иллюзион" — кинотеатр, где можно увидеть довоенные фильмы с Гретой Гарбо или Эрролом Флином. Ося дарит мне рубашку. Потом он выкладывает добычу предыдущего вечера: грязные, затоптанные этикетки жвачек, пустую бутылку из-под тоника, и пустую пачку сигарет "Пэлл-Мэлл". Все это Ося несет в дом. Эти этикетки и коробки я иногда беру у него, чтобы наклеить где-то в своих рисунках.

Только мы успеваем с Осей поделиться мнением о романе Агаты Кристи, который начал печататься в журнале "Памир", раздастся звонок.

Из коридора несется рев Иосифа и оглушительный хохот. Пришел Бухгалтер. Он принес жареных килек по 50 копеек килограмм и требует теперь бутылку. Начинается лихорадочная суетня: ищем посуду, собираем мелочь, считаем. Потом Иосиф, сам, взяв портфельчик, идет в магазин. Возвращается он быстро. Большая удача! Взял три бутылки по 0,5 по 1 рублю 17 копеек! Проходит немного времени. Мы удобно сидим на продавленном диване. Приемник играет. Иосиф развлекает нас историями о больных, которых он видит в психодиспансере. Вечер. Мы уходим гулять. Многие ли люди гуляют по Москве просто так? Видели ли вы таких? Мы идем безо всякого определенного плана. Если повстречается подходящая девушка — пробуем познакомиться. Но это просто так. Дань, так сказать, времени. В принципе, новое знакомство нам не нужно. Да и с хорошей девушкой просто так не познакомишься. Тем более, что на Иосифе пальто за три рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков... И отворачиваются. Но Ося не обижается. Его настоящий праздник — ночь. Но это без меня. Мне завтра на работу. И я уезжаю на троллейбусе. Бухгалтер идет к метро. А Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины. Но его они не интересуют. На него смотрит приятная блондинка, чувствуется, что ей даже плевать на то, во что он одет. Он проходит мимо. Но вот... Ого! Вот то, что нужно! Около Музея революции идет... Нет, описать это невозможно. Сзади это девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за пятьдесят. Она вся раскрашена.

А улыбка и ужимки, как у смущающейся примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию? Ося очень быстро находит контакт с девушкой. Она увлекает его в сторону Белорусского вокзала. Они скидываются и покупают большую бутылку "Белого Крепкого". Заходят в парадное. Выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется:

— Опять! Опять сюды пришли! Сейчас милицию позову!

Упорхнула спугнутая парочка. Хмель и расположение друг к другу не позволяют им расстаться. Долго бродят они, ища подходящее парадное. Пуста уже улица Горького. Далеко за полночь. Лишь одинокий пьяный покажется вдали или какой-нибудь страдалец, которого выставила за порог твердая женская ручка. Чу! Слышны громкие шаги. Хозяйские. Уверенные. В сторонку, в сторонку... Это милицейский патруль. А вот и "Волга" милицейская тихонько так, бесшумно проехала. Вот парадное! И проходное! И Ося скрывается в нем с девушкой...

Рассказывая об Иосифе, я хочу сам понять: был ли он действительно сумасшедший? Или же тридцатирублевая пенсия заставляла его играть эту роль? Иосиф талантливый человек, но талант его не выплеснулся.

Всю жизнь обеспокоенный, что пенсию могут отнять, он весь талант свой угробил на то, чтобы никто не сомневался, что он сумасшедший. Несколько лет назад из-за трагических обстоятельств в жизни одного нашего знакомого, мы расстались. Весь свой подъезд, подъезды знакомых, телефонные будки в центре Москвы он исписал надписями:

СЫСОЕВ — КГБ — НА Х...

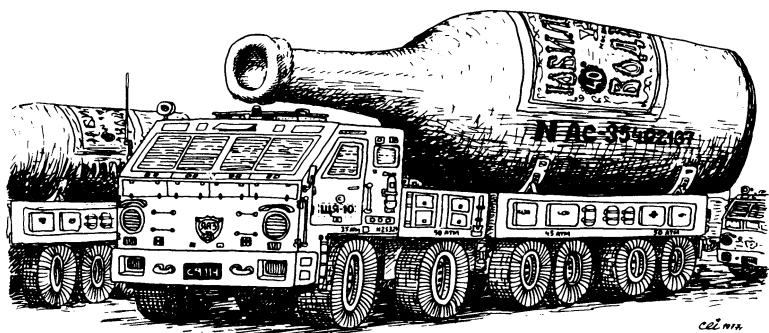
И — мой телефон.

Перед тем, как навсегда расстаться, я спросил:

Зачем ты это сделал?

— Чтобы ты больше не ходил ко мне! Одного посадили, а из-за тебя и я сяду?! Не хочу! Не хочу! Не хочу!

И я ушел.



В УЧЕНИКАХ

Я работал мальчиком в подвале. До этого мне и в голову не могло прийти, что во второй половине двадцатого века, в стране, что давно освободилась от крепостного права, может быть такое.

Вообще-то меня взяли учеником в макетную мастерскую. Мастерская наша помещалась в подвале — в переулке рядом с улицей Горького. Ученичество началось с того, что бригадир Василий Васильевич сказал:

— Запомни, что здесь хозяин — я. Что ты видишь в углу?

В углу я увидел метлу и совок.

— Это твой инструмент. Пока. Остальному научишься.

Моей главной обязанностью стала уборка мусора. Каждый день я выносил на помойку два китайских бочонка с отходами производства. Рабочий день в бригаде начинался стандартно: сотрудники собирали по рублю (иногда по два), я брал кошелку и шел на улицу Горького. Водка тогда продавалась с открытия магазина. И брал я всегда пару бутылок "Московской" и бутылку красного. "Красное" — это любой напиток слабее 20-ти градусов. Однажды кассирша магазина, где постоянно брал я зелье, пожалела меня:

— Такой молодой, а уже алкаш...

Но я не пил. Удивительно, но за три года своего ученичества я не спился. Три года я ходил в мальчиках. Чтобы не соврать, скажу, что я стал все-таки макетчиком, а не просто уборщиком. Василий Васильевич и его помощник Аркаша ко мне хорошо относились.

Аркаша — это пожилой интеллигентный еврей. Во время войны он был танкистом, горел вместе с танком. Сам смеялся: еврей-танкист — не может быть такого!

Будучи по возрасту намного моложе всех макетчиков, я при-

слушивался к их разговорам. Удивительно, как это люди всю жизнь жившие при культе, сумели так быстро распуститься. После обеда бригада обычно бросала работу... Начинались воспоминания о жизни при культе.

Вступал Василий Васильевич:

— Помню, у нас в Мытищах баловали по ночам. Грабили и убивали. Я — мужик-то здоровый, но думаю — от греха надо бы уберечься. Сделал себе железный прут с кочергу, загнул ручку — и во внутренний карман пальто повесил, дырку прокрутив. Однажды иду домой с поезда — двое подходят:

— Снимай пальто.

— Пальто? — говорю. — Сейчас... Расстегнул я, это, пальто, а сам за прут. Выдернул его и — хрясь! — одного по башке! Так и расколол.

— А второй?

— Второй-то? Сбежал...

Тут кто-нибудь вспоминал вдруг, что видел вчера Никиту по телевизору. Вообще разговоры о Никите Сергеевиче были ежедневные. Никто не упускал случая посмеяться, передразнить или лишний раз обругать нашего премьера.

— Вчера-то, вчера... Я чуть не об.....ся! Вылезит этот м.... на трибуну и несет: "Уважаемый, можно сказать, друг, Джавухулар Нью!"

— А рожу-то видели сегодня в газете? Со своей бл...щей снят! С похмелья не обдр...шь...

И так каждый день. Потом Аркаша ударился в воспоминания о том, что случалось при Сталине с его знакомыми. И обращаясь ко мне, говорил:

— Эх, жизнь-то прошла, себя не жалко. Что с ними-то будет?..

Однажды в подвал зашел мой отец. Газета "Труд" была в десяти минутах хотьбы от подвала. Встретила его бригада очень доброжелательно. Даже перестали на время материться.

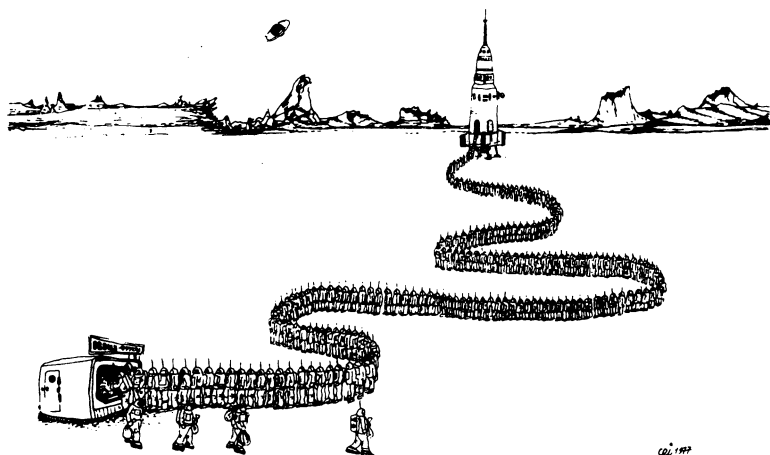
Разговор повернул от мелких наших макетных дел к государственным. Вдруг все буквально набросились на отца и стали ему выкладывать все, что наболело. И о кукурузе, и о планировании, и о кубинцах, и о египетских нахлебниках... Видимо, считали, что журналист Сысоев может как-то помочь...

Точно такую же сцену я увидел лет двадцать спустя по телевизору. Была передача о недостатках. Говорили, что в одном отдельно взятом поселке, в одной области в Бурятии, в магазинах иногда чего-то нет. Все это снимало московское телевидение. И вот на экране видны взволнованные лица бурятских жителей. Торопясь, как бы не отвели от них камеры, они громко рассказывали, чего у них нет. Сзади подлезают другие и говорят уже не только о мага-

зине. И все торопятся, торопятся. Видимо, это телевизионное око казалось им чем-то вроде архангела с пылающим мечом, возникшем в их глухом поселке, чтобы творить суд...

Вера в печатное слово до сих пор огромна. Напечатанное типографским шрифтом завораживает и вселяет веру: ну, если пишут, значит... К десяти утра в Москве в киосках нет свежих газет. В метро, в автобусе, дома, на работе — все читают газеты. Повышающие свой идейный уровень граждане подписываются сразу на несколько газет. Дети читают "Пионерскую правду". Те, кто не выписывает ее, спокойны: "Пионерскую правду" читают в школе. Называется это — политинформация...

К сожалению, та беседа макетчиков с отцом-журналистом не принесла результатов. Отец прекрасно знал все, что ему могли сказать эти грубые представители класса-гегемона. Редакция "Труда" была затоплена хулительными письмами и жалобами. Но могли он вслух согласиться с Василием Васильевичем и другими, когда они ругательно ругали власть?



ГРЯЗНЫЕ ХАЛАТЫ

В своей жизни мне приходилось встречаться с великими людьми. Беда в том, что гении эти до сих пор не знают, с кем они общались. Общение было односторонним. Всегда в грязном серо-черном халате, в гипсе и стружке, я предстával перед великими зодчими и скульпторами. Никто из них не запомнил меня, не знал фамилии. Да и действительно: стоит ли запоминать работяг, что подворачиваются под руку?

Вот наступает утро трудового дня. Я — в макетной мастерской ВПХК (художественного комбината). Открыв дверь собственным ключом (я бригадир, мне положено иметь ключ), окидываю взглядом помещение. Все ясно. Вчера, уходя домой, предупреждал с в о и х — пейте не на работе, что у вас, места нет, что ли? Ничего не помогает. На самодельной циркулярной пиле стоят улики: бутылка из-под водки, три бутылки из-под красного. В свертке аккуратно завернуты кусочки хлеба, сыра, колбасы. Убираю все это в огромный шкаф. Появляются по одному с о т р у д н и к и. (Подозрительное слово — но как еще назвать тех, с кем бок о бок работаешь много лет?). Хмурые. Я чувствую, правда, что им легче здесь, чем где-нибудь в других макетных мастерских. Можно громко орать, давая выход сдерживаемому напряжению. Можно напиться и уйти. (Я вычеркиваю в таком случае несколько часов работы из табеля.) Можно делать так называемую халтуру: т.е. то, что нужно для дома или то, за что получаешь деньги на стороне. Кроме всего, полная свобода высказываний: можно плести все, что угодно! Такая свобода, что и в Гайд-Парк ехать не надо. Включаю приемник. Ловлю поляков. Девять утра. В Варшаве семь часов, музыка только западная. Польское радио очень помогает проводить рабочее время. А в 15 часов кто-то настроится на "Голос Америки" и до конца работы время пройдет незаметно.

Итак, сегодня нам надо закончить два маленьких макетика. Только-только начинаем работать, только завизжала циркулярка, плюясь осколками оргстекла, изрыгая дым и вонь, как открывается дверь и вбегает скульптор Никогосян. Рев смолкает. Все приготавливаются смеяться. Не в лицо, конечно. Никогосян — великий человек. Великий армянский московский скульптор. Он давно понял, что кавказский акцент незаменим, как в общении с администрацией художественного комбината, так и с рабочими — про-

кладчиками, формовщиками, макетчиками. Всегда, когда нужно, можно сделать вид, что чего-то не понял. На улице зима, поэтому Никогосян вбегает в распахнутой дубленке. Под нею свитер, ярчайший, и синие американские штаны в обтяжку, они же джинсы. На голове седые кудри. Никогосяну лет шестьдесят. Глаза горят. Гений, что с него взять?! Прямо сейчас из "Жигулей", и сразу к Сысоеву. Сколько я раз видел до этого Никогосяна? Раз двадцать. И каждый раз он меня путает: то я Вова, то Коля, то Витя. Не то что фамилию, имя не знает. Да и зачем ему?

— Слюшай, Игор, дарагой, горю, понимаешь?

— Что случилось, Николай Багратович?

— Завтра парасмотр, сикультур исделать надо, пастамэнт надо! Сикультру внизу делают, а ты пастамэнт сделай, да?

— Николай Багратович, у нас много работы.

— Все знаю, Коля, все панимаю. Завтра камыссий приедет из министрства, панимаешь? Горю! Ну, дарагой, исделай, пажалуйста. Все заплачу, как надо, панимаэш?

Кто может отказать в такой страстной просьбе великому скульптору? Договариваемся. Откладываем свою работу. И (вот мы какие молодцы!) — завтра уже наступило — мы тащим сооруженный постамент наверх, в какой-то запасник, где сейчас состоится просмотр. Господа в иностранной одежде, чиновники министерства культуры, члены комиссии, наше начальство... В грязных своих одеждах, уверенные в себе, мы бойко ставим постамент на тумбы, устанавливаем на нем очередную гипсовую модель Вождя, изваянную Никогосяном. Смотреть на все это страшно. Я искоса наблюдаю за гением. Он ничуть не тушует. С уважением глядит на свое детище. Рядом крутится молодая смазливая бабенка. Все обтянуто, что нужно. Так и чувствуется, что под одеждой она совсем голая. Кто-то из начальства спрашивает у нее: "А вы откуда, уважаемая?"

Никогосян подбегает: "Это со мной! Мой сэкрэтарь!"

Секретарши и натурщицы меняются у Никогосяна очень часто. Те из нас, кому приходилось работать в роскошной двухэтажной мастерской Никогосяна, видели его гарем. Наложницы по одной, а то и несколько сразу, обслуживают гения на его Парнасе. Только что пальм не хватает. Рассказывали мне, что один этаж занят у великого Нико скульптурами и бюстами вождей собственного изготовления. Вводя посетительниц, он небрежно бросает: "Это для дэнэг!". После ведет на второй этаж, где стоит все остальное. — "А это для души, панимаешь?" — объясняет он, нежно обнимая за плечики очередную наложницу...

Мы скромно уходим к себе, в предвкушении "халтурной" мзды. Часа через два вбегает Никогосян.

— Приняли, Николай Багратович? — любезно интересуюсь я.

— Канэчно, приняли, — кричит он. (Пусть попробуют не принять!) — Слушай, Сэргей! (Это мне). Ты знаэш, сэмя у меня какой?!

— Какая же, Николай Багратович?

— Сэмя у меня большой, дачу рэмонтировать надо, внук забалэл, панимаеш?

— Нет, Николай Багратович...

— Драгой Игор, денег сейчас нет, панимаеш? Совсем нет, горю! Вот тебе, только нашел!..

И Николай Багратович сует в карман моего засаленного халата... три рубля. В присутствии всех.

Надеюсь, не надо описывать реакцию сотрудников. И их выражения...

А вот встреча с еще более великим... В сопровождении свиты — администрации нашего комбината — уверенно и напористо входит к нам сам Лев Кербель. Почему-то кличут его в народе Парафиновый Нос. Администрация угодливо разворачивает принесенные Кербелем чертежи.

— Кто главный? — спрашивает деловито Парафиновый Нос.

— Вот, Слава, — показывает на меня начальник.

— Посмотри чертежи, Слава.

Я смотрю.

— Справишься?

— Отчего же не справиться...

— Понял, что это?

— А как же. Будущий памятник на Малой Земле.

— Понял, кто смотреть будет?

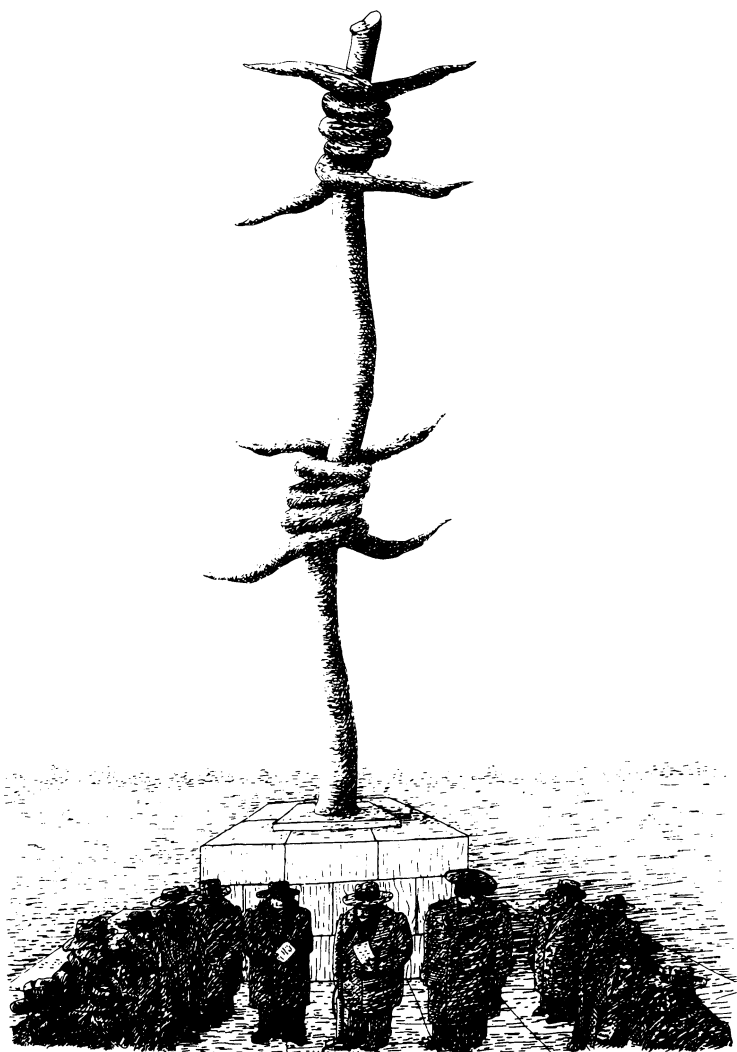
— Понятно...

— Чтобы все было, как конфетка, понял?

— А как же...

И мы сооружаем крутой берег, и море, и маленький постамент с крохотным бюстом. Одним словом, Малую Землю в том виде, в каком она будет потом восславляться в прессе, по телевидению.

Несколько раз приезжает Кербель. И даже помнит, что бригада зовут Слава. С каждым его приездом я чувствую, что он все более доволен. Наконец, все готово — вылизано, покрашено, протерто. Кербель приезжает с несколькими дубленками. Все в восторге! Есть из-за чего: кто-то наговорил, что тут работают дилетанты и алкаши — и вдруг все видят прекрасно выполненный макет! Кербель благодарит всех. Жмет руку. А через несколько дней от него приезжает мальчик и привозит бутылку конька...



Приходит Исаак Б. Это очень тихий, вежливый, воспитанный и застенчивый человек, скромно одетый. В большом скульптурном зале, рядом с нашей мастерской, всегда стоят его фигуры вождей. Они зеленые; их делают (или прокладывают) из глины — в натуральную величину. Исаак всегда имеет прекрасные заказы. Он подходит ко мне, и мы договариваемся, что за неделю наша бригада сделает ему макет. Тоже для какого-то просмотра.

Макет сделан. Б. очень доволен. Сотрудники договариваются с шофером, перевозят в мастерскую Б. желанную игрушку. И там происходит следующее. Макет сгружают. Б. жмет руку и говорит:

— Спасибо, ребята. До свидания.

— А деньги? — говорят мало воспитанные ребята.

— Видите ли, ребята... Сейчас у меня нет. Через неделю я приеду к вам, и все отдам. И очки я сегодня свои потерял, вот несчастье...

Б. все знают как очень порядочного человека. Спокойно работаем неделю. Вдруг кто-то из наших видит его в коридоре. К нам он почему-то не заходит. Посылаю сотрудника спросить о сумме, да не в лоб, а как-то так, исподволь. Возвращается гонец.

— Вот сволочь какая! ...! — матерится он.

— Что случилось?

— Да говорю ему, как с долгом, не забыли? А он мне отвечает:

— Я же вам отдал, когда макет привозили, вы что, ребята?

Опускаем руки и разезаем рты.

Видел я у нас и Эрнста Неизвестного. Надеюсь Эрнст мне простит, что я помещаю его в галерею самых известных советских мэтров. Эрнст получил возможность участвовать в конкурсе. Пришел в Художественный комбинат. Несколько недель мы делали Эрнсту макет: рельсы, рельсы, полосы — все висит в воздухе, а над этим парит какая-то фигура. Макет был сделан для конкурсного просмотра памяти 1905 года.

После того, как все было закончено, Эрнст щедро выложил своей здоровой пятерней солидную сумму. Кто-то тут же слетал в магазин. И вечером, когда комбинат опустел, мы всей бригадой сели с Эрнстом пировать. Эрнст разошелся и, когда все осушили, — послал в магазин еще раз. А после — плакал, жаловался, кричал, что жизни нет, что Никита все ему поломал...

Проект Неизвестного не прошел, конечно.

Может, кто-то подумает, что симпатии и антипатии рабочих прямо равны той сумме, которую выдают на выпивку великие? Ничуть не бывало! Сколько раз я слышал, с какой издевкой и матерщиной отзывались о щедрых гениях сотрудники! Беда всех этих дубленочных гениев в том, что они не хотят спуститься до нас. Они искренне верят, что своими многометровыми побрякушками

войдут в историю... Впечатление о персонажах, здесь описанных, может сложиться не очень лестное. Заметна некоторая ехидность автора, может, даже цинизм.

Совсем другой пример. Вот к нам входит Слава Буякин. Его так и зовут — Слава. Всегда, когда он заходит в мастерскую, мы бросаем работу. И не потому, что он сейчас даст на бутылку (на две, на три) — это всегда происходит. Просто этот человек вызывает расположение своей улыбкой и нормальным отношением. Слава как-то рассказывал нам о памятнике, который обули...

Он сделал для Тулы Льва Толстого. Нормальный соцреалистический памятник. Идет граф Толстой по пашне. Босой. А руки засунул под веревку, что толстовку перепоясывает. Государственная комиссия смотрела памятник и осталась довольна. Все выдержано в духе. И вдруг кто-то спросил: а почему он босой? Объяснили. Комиссия посоветовалась и решила — нет, нельзя! Необходимо обути! И обули. В сапоги.

Слава Буякин умер в 1975 году от разрыва сердца.

Я не буду больше писать о скульпторах. Их другая жизнь мне неизвестна. Можно, конечно, вспомнить многое. Как Вучетич из ревности разбил свой огромный аквариум. Как Томский делал модель саркофага... Я останавлиюсь. Не буду обвинять гениев в зазнайстве. Им свойственно все, что свойственно смертным: и гордыня, и жадность. Да и рабочие, что постоянно трудятся над их заказами, не святые. В конце концов, никто не обязан поить кого-то за счет своего гонорара. Правда, на этот счет мне вспоминаются слова одного остроумного камнереза. Он всегда спрашивал у заказчика перед началом работы:

— Вам как сделать — хорошо или бесплатно?

Не я один, в своем грязном халате, так болезненно воспринимал отношение к нам со стороны великих мира сего. По отдельным замечаниям, репликам и жестам, я видел, что все всё понимают и чувствуют. Может быть, желание не делать ничего бесплатно, требовать за все мзду — и есть то, чем пытаются уравнивать себя в социальном плане грязные халаты? В конце концов, они нас заставляют чувствовать себя где-то на нижней ступеньке, так пусть за это и расплачиваются. Хотя бы деньгами.



ЗНАМЕНИЕ СВЫШЕ ИЛИ КАК СЫСОЕВ СТАЛ НОНКОНФОРМИСТОМ

В воскресный сентябрьский вечер 1974 года я пришел домой. Включил приемник. И услышал небывалое: несколько часов назад у моего дома, на Беляевском поле, произошел бульдозерный погром! Громили художников, как было сказано по Би-Би-Си, абстракционистов. Я тут же спустился вниз, перешел шоссе и оказался на поле. Ничего! Никаких следов. Лишь милицейская машина стоит недалеко. Тогда я впервые узнал, что модернизм существует и сегодня в России. Уже много лет назад я собирал репродукции по современному искусству. Покупал, когда мог, альбомы Кандинского, Дали. Сам что-то рисовал. Какие-то абстрактные и сюрреальные картинки. И никогда не слышал, что сейчас, сегодня, рядом, в Москве, есть художники, которые продолжают делать то, что прекратилось, как мне казалось, в тридцатых годах! Собственно, стоит ли особенно удивляться, что я ничего не знал? Выставок нашим модернистам не устраивали, в газетах не писали. А круг моих знакомых был совсем иной, не связанный никак с художниками. В те сентябрьские дни радио почти каждый день сообщало о художниках. Узнаю, что есть Рабин, Эльская, Рухин. Чувствую, что меня затяги-

вает пучина... По радио сообщают, что готовится какая-то квартир-ная выставка. Случайно узнаю адрес Оскара Рабина. Приношу на работу две маленькие картинки. Твердо решил для себя: сегодня вечером еду к Рабину, будь что будет!

Конец рабочего дня. Переодеваюсь в пустой раздевалке. Беру работы под мышку, и, тут же, с размаху падаю на скользком кафельном полу. Возвращаюсь назад, чтобы почиститься. Снова беру работы и... Искры сыплются из глаз! Со всего хода врезаюсь головой в какую-то железяку надо мной! Кровь в волосах. Меня как ударяет: это знак, символ — не ходи к Рабину, не ходи...

Еду на Преображенку. У Рабина полно народу. Выставка открылась. Хозяина дома я не знаю, не могу найти. Не тот ли, с лысым черепом? С необычным, запоминающимся лицом? Несколько раз, сквозь толпу в комнатах, я чувствую на себе его внимательный, испытующий взгляд. Спрашиваю. Оказывается — он самый. Вот какой Оскар... Мне как-то неловко показывать свои картинки... Я мнусь, долго и косноязычно что-то объясняю. Оскар говорит, чтобы я пришел завтра, днем, когда не будет народа. На следующий день снова еду к Оскару. В доме никого. Можно спокойно посмотреть картины на стенах. Мне запомнилась работа Оскара — Надя Эльская в черных перчатках. Я смотрю на картины, и мне страшно неловко показывать то, что я принес. Наконец, разворачиваю сверток. Прислоняю картины к стулу. Оскар, человек, как известно, сдержанный, говорит: "Мне нравится". И вешает их у себя.

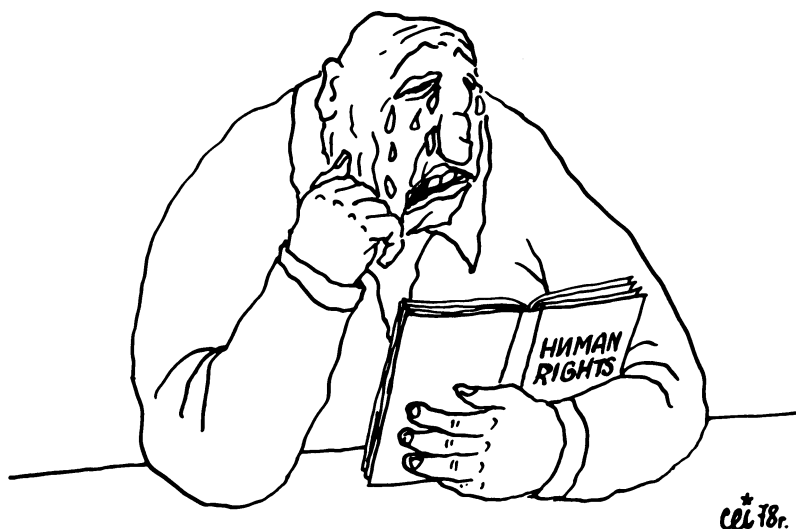
Так Сысоев стал "нонконформистом". Мне никто ничего не сулил. Меня никто никуда не заманивал, не расставлял мне никакие ловушки. Я впервые в жизни пришел к Оскару, и мои картинки были повешены в его квартире. Видимо, кто-то будет думать, что я кривлю душой. Что я с этого что-то имел. Клянусь, что все мои действия были совершенно спонтанны. Я и представить себе не мог, что все это приведет к таким последствиям.

Когда прошло два года, и я стал заходить к Оскару просто так, как многие друзья, я увидел, что его квартира открыта для всех, буквально. Но тогда, в первый раз... Мне казалось, что я чего-то удостоен. Наивное, где-то даже мальчишеское чувство сопричастности к чему-то великому!

Однажды, после того, как у Оскара состоялась очередная пресс-конференция (для западных корреспондентов), меня вызвали в милицию. Это так было принято. Разрешать неофициальные выставки и держать в поле зрения устроителей. Собеседник мой, внимательный гражданин в штатском, вкрадчиво спросил меня, сверля взглядом:

— Скажи честно, сколько вы за пресс-конференцию у Рабина от н и х получили?

Нет, не поверил он мне, этот человек, что мы ничего не получаем... Впрочем, на его месте, я тоже не был бы доверчив...



СОН

В шестистах километрах от Москвы, на берегу прекрасной и тихой речки П. приснился мне удивительный сон. Случилось это тогда, когда ходил еще я свободно по нашей земле, гордо нес голову и беспечно показывал представителям власти свою краснокожую паспортину.

Сам по себе факт, что мне приснился сон — не имеет особого значения; согласно указаниям свыше и в свете решений, каждый гражданин имеет право видеть сны. Причем — и это еще одно свидетельство демократичности нашего общества — сны могут сниться черно-белые, цветные, идеологически-выдержанные, невыдержанные и вредные. Могут даже сниться сны сексуальные, вещие и антисоветские. Дело в том, однако, что сшившиеся мне сны я не запоминаю. Не знаю, что это: отклонение от нормы или защитная реакция организма. Но в ту ночь, в зеленой палатке, когда в ночном воздухе вдруг раздавался бешеный птичий крик, и где-то вдали на реке бухали браконьерские взрывы...

Снилась мне огромная площадь. Это была какая-то странная площадь. Вроде бы я оказался на ней в первый раз, но, с другой стороны, я чувствовал, что бывал там уже. Я стоял среди тихо волнующейся толпы. Сверху толпа эта была четырехугольная. Я ощущал себя то в этой толпе, то будто бы парил над нею. Невидимыми барьерами толпа эта сдерживалась и оставалась на месте. Совсем рядом с нами стояли пионеры. Они стояли стройными шеренгами, и шеренги эти были бесконечны и терялись где-то в перспективе. Белые рубашки и блузки юных пионеров, красные галстуки, взволнованные детские лица. Шеренги слегка колышутся — то переступает от волнения наше подрастающее поколение. Все чего-то ждут. Что-то должно произойти. Скоро что-то произойдет! Но что? Никто не знает. Мы не спрашиваем друг у друга. Вдруг, нарастая, какая-то волна движется по площади. Прорывается вдруг чудовищный металлический голос:

— Колонны-ы-ы-ы! К выносу знамени имени славной пионерской организации будьте готовы-ы-ы-ы!

Эхо разносит по площади: товы... товы... товы... Замерли шеренги на площади. Застыла толпа, напряглись и сжался я, стиснутый сотнями тел.

Внимательно смотрю на пионеров: их руки приподняты в пионерском салюте, не шелохнутся. Вижу крупно лица пионерки и пионера: белые от внутреннего напряжения. У пионера плачущее лицо — я знаю, бывает так, когда человек предельно волнуется. Обычно за этим следует обморок. Но все стоят!

Вдали слышится какой-то шум, не шум даже, а будто бы шарканье и мерный топот. Что-то движется сюда, на площадь. Все окаменели. Какая-то масса, колышась, придвигается к нам. Ближе, ближе... И вот уже можно разглядеть. Идут какие-то люди в серых пальто, в такого же цвета шляпах. Пальто и шляпы как бы взяты из сундуков, они какие-то — нет, не старые, — скорее не модные, не современные. Похоже, что владельцы носили их лет тридцать-сорок назад... Вот масса шествующих равняется с нами. Они молчат, идут довольно быстро, разбившись на группки человек по десять в ряд. Что-то сейчас будет! Прошли. Все стоят окаменело. Это что-то не то. Не может быть, чтоб это было все. Чувствую, что и стоящие рядом это понимают. Главное еще впереди... Стоим молча. Не чувствуется ни дуновения. Гробовая тишина над площадью.

И вот снова вдали какое-то колыхание и топот. Снова идут сюда, на площадь. Все чувствуют, что вот теперь, вот сейчас, идут те, из-за кого мы здесь собрались.

Видим, видим! К нам приближаются те, кого мы ждали! Впереди идет какой-то человек в темно-сером, в шляпе. За ним — одетые в такие же, как и в предыдущий раз, серые одежды, мужчины. Лиц не видно. Впереди идущий виден хорошо, походку его мы узнаем, чувствуем, что это кто-то хорошо знакомый. Но кто? Кто? Лица не разобрать. Все ближе они подходят к нам. И вот поравнялись. Идут мимо! Вот этот момент! Сейчас! Сейчас что-то будет!

Но что это? Они... проходят?!

Впереди идущий вдруг оборачивается к нам, и мы ясно видим улыбку на его лице, но лица, лица не разобрать! И вдруг говорит он, довольно громко, и голос его так знаком нам, по телевизору, по радио мы слышали его не раз:

— Подождите!

Голос его вдруг фамильярно возвышается, какие-то клоунские, олего-поповские интонации слышны в нем:

— Да подождите же! Потерпите исчо, таварыщи!

И это все! Толпы я не чувствую. Я знаю, что это слышали все, но сейчас, в эту секунду, я чувствую — это для меня сказано!

Уходят люди в серых пальто и шляпах. Обманул радио-голос, не было никакого выноса знамени имени организации. Несколько оживают окаменевшие шеренги пионеров. Толпа переводит дыхание. И я просыпаюсь.

Великолепное утро, река, солнце, небо без облаков, трава!
Птицы! Лес! Свобода!

Почему я запомнил этот сон? Что это? Предостережение? Ясное видение? Потерпите товарищи!



ВН СЫСОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАО — ВАНЬСУЙ, ВАНЬСУЙ, ВАНЬВАНЬСУЙ!

Прошел год, как я познакомился с Оскаром. Я вошел в новый круг. Знал уже многих так называемых "нонконформистов". Мы непрерывно что-то устраивали, организовывали. Я бегал к Оскару, ходил на работу, вечерами рисовал. Вместе с другими сидел в подвале у Миши Одноралова. Там шли горячие дебаты — что делать дальше. Дебаты с криком, матом и смехом. Наступала первая годовщина разгрома. За этот год я несколько раз выставлялся уже на квартирных выставках. Меня немного узнали. Свое сопричастие я ощущал и стремился делать что-то, что дало бы мне дальнейший толчок. Каждое утро, как и много лет, я приходил на работу, в макетный комбинат. Все шло хорошо. Я делал макеты. Меня хвалили. В пять часов 15 минут вечера, когда все уходило, начиналась моя вторая жизнь. Боже, если бы знало начальство, какую змею они пригрели на своей груди! Я запираю дверь. Занавешивал окна. Доставал спрятанный на день огромный загрунтованный лист оргалита, и начинал делать Мао! Этот портрет, если позволительно так будет сказать, я делал больше двух месяцев. Собственно, на поверхности размещалось семь стандартных одинаковых портретов великого кормчего. Семь Мао — семь цветов спектра. По бокам шли надписи на китайском языке: Да здравствует председатель... и т.д. И все это — в колючей проволоке. Свеженамалеванный Мао убирался сохнуть — от любопытных глаз. А я шел домой. И там рисовал. Одновременно делал еще несколько работ. Все это готовилось мной к грандиозной выставке. Модернисты вели переговоры с властями об устройстве официальной выставки "отверженных". Наконец, после отговорок, ухищрений, угроз, обманов, взаимообвинений нам разрешили выставку. И где?! На ВДНХ, в Доме Культуры! Правда, говорят, смотреть там неудобно, и колонн много, но это успех, победа! Везут художники, везут на ВДНХ свои работы! Увеличивается гора того, что будет висеть! Прибавляется работы нашим организаторам, инициативной группе. И ухо приходится держать остро. Художники сами себе сами себе устраивают цензуру — ведь нам обещали, что официальной цензуры не будет! Сами для себя решают, что выставить, что нет — но ведь народ-то все бесшабашный, сумасшедший! Им дай руку — совсем сожрут!

В макетном комбинате о моем участии не знает почти никто.

По крайней мере, мое начальство и не подозревает, что вскоре произойдет.

И вот — открытие. 12 часов дня. Я, естественно, ушел с работы. Что это? Полно милиции, барьеры, машины. Толпа! Я никогда не предполагал, что живопись...

Я сообразил позднее, что не живопись, а любопытство, подогреваемое сообщениями иностранного радио, двинуло на ВДНХ многих из собравшейся толпы.

Открытие! Мы входим, вернее, врываемся. Что это? Все ясно! Опять нас нагрели! Половины работ нет, одни веревки висят! Они пришли ночью и сняли! Сделали свою цензуру! Раздается крик: "Срывай все!". И в отчаянии художники рвут оставшиеся картины с веревок. У меня из семи работ висит три. Рву их, бросаю у стенки. Потом помогаю другим. Милиция наполняет Дом Культуры. Слышны мегафонные команды:

— Граждане, покиньте залы! Выставка закрыта! Граждане, разойдитесь!

Нас выпихивают на улицу. Вы хотели все сделать тихо? Так вот вам скандал! Мы не расходимся. Мы стоим перед домом, где нас так ловко надули. Кто-то все время приносит какие-то новости. Но все это оказывается блефом. Но вот правдивая новость: только что в Ленинграде арестован на 15 суток Эдик Зеленин. Толпа двинулась чуть в сторону, к мусорным ящикам. На один из них влезает Оскар. Он в синем, хорошо отглаженном костюме. Это не "Тупик им. Богородицы". "Помойка №7"! Оскар на помойке. Все правильно! Где же ему еще быть? Оскар говорит тихо. Все замерли. Внемлют. Надо действовать и не уступать. И требовать освобождения Зеленина.

Прошло шесть часов. Мы стоим. Торговля с властями продолжается. Мы окружены милицией, отгорожены барьерами. Наконец, какой-то компромисс: выставка откроется завтра, но семьдесят работ не повесят. Спрашиваю поочередно у каждого, что он хочет выставить. Все, видите ли, нельзя. Нельзя и двух Мао Цзе-дунов. (В придачу к большому Мао, я сделал еще и рисунок — сидит Мао Цзе-дунчик в московской квартире, смотрит по телевизору футбол).

Нет, Мао нельзя — категорически! ...Ну и что, что карикатуры? Нет!

Когда я поздно, с гудящей головой, являюсь домой и включаю радио, на меня обрушивается град сообщений: скандал... провокация властей... запрещено столько-то работ... среди них два карикатурных портрета Мао Цзе-дуна. Вот это да! Фамилии автора не называют, да и в ней ли дело!

Выставка действительно открывается на следующий день. Огромные толпы любопытствующих, кордоны милиции и непрерывно звучащий в залах Дома Культуры металлический голос:

— Граждане, проходите! Проходите, не задерживайтесь! Граждане, вы так долго стояли и теперь стойте — проходите, не задерживайтесь! — без конца, без перерыва. Видимо, так надо. Нервозность, очевидно, полезна для восприятия модернизма. Сколько эмоций вызывает у зрителей наша выставка! Тут и наивное восхищение, и ярость (так долго стояли — и такая чушь), и усмешки мэтров соцреализма... Они побывали там, я знаю. Масса иностранцев. Их, конечно, живопись не интересует — то ли они видели. А вот толпа, реакция милиции, художники...

Две недели идет наша выставка. Толпы желающих увидеть "абстракцию" увеличивается. Я почти каждый день на выставке. Сложно отпрашиваться на работе, но что делать? Впервые в жизни, в официальном зале! Спрашиваю у девушки, выходящей из зала, сколько времени она стояла в очереди. Шесть часов! В это время ко мне подходит художник Лева Бруни. Он представляет меня двум восточным людям: "Вот это и есть тот самый Сысоев, что сделал Мао." Восточные люди в черных костюмах, со старой "Лейкой" вежливо улыбаются и протягивают мне руку:

— Агентство Синьхуа, здравствуйте.

Веду китайцев в зал. Первое интервью. Собирается толпа. Меня ослепляют вспышки. Китайцы знают только, что запрещен Мао. К а к о й Мао, они не знают. Осторожно отвечаю на их вопросы — где учился, почему решил сделать портрет председателя... Один из китайцев спрашивает: "Можно ли увидеть ваши снятые работы?" Я отвечаю, что об этом знает только администрация Дома Культуры. Китайцы уходят искать администрацию и Мао.

Часа через два, когда я сидел среди художников у входа на выставку, вдруг кто-то крикнул: "Сысоев, твои друзья!" Действительно, из Дома Культуры вышли корреспонденты Синьхуа. Лица их были бесстрастны. Я сунул кому-то свой аппарат — сфотографируй, мол, — уникальный случай, а сам подошел к желтолицым гражданам.

— Давайте сфотографируемся на память, — предложил я. Оба китайца сделали инстинктивное движение в сторону. Один из них улыбнулся (так надо) и сказал:

— Спасибо, мы бы этого не хотели.

— Но почему? — возмущенно пропел я.

— Мы видели ваши работы, извините.

Так Сысоев стал не только нонконформистом, но и первым советским неофициальным художником, давшим интервью Синьхуа.

Коллекционер Т. клянется мне, что он сам, лично, в те дни

слышал китайское радио. И якобы диктор сказал: "В Москве состоялась большая выставка работ неофициальных художников. В знак протеста против запрета показать портреты Мао Цзе-дуна художники сорвали все свои работы".

Интересно, что комментарии "Голоса" относительно запрета Мао были такие: "Сатирические портреты Мао Цзе-дуна были запрещены из опасения осложнить и без того натянутые советско-китайские отношения".

Так маленький, никому не известный макетчик Сысоев вдруг чуть не стал причиной войны с китайцами.

Начальство мое очень скоро узнало о моем соучастии в преступной выставке. И я поплатился за все. За Мао, за сионистскую, как мне было сказано, выставку, за связь с "абстракционистами". Меня просто взяли и выгнали с работы.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ

После того, как меня выгнали с работы, мне оставалось только одно — идти дальше по пути, намеченному карикатурами Мао. Я принимал участие во многих квартирных выставках. Художники рвались к известности. Видимо, многих толкало к участию в неразрешенных выставках чувство неполноценности.

Представилась возможность — пусть в обычной квартире, но повесить свою работу, дать ее на всеобщее пожирание. Публика ходила на наши неофициальные выставки большей частью неприятельная. Все кушала, что ей давали. Все, казалось, были причастны к какой-то тайне...

Нечистая сила, меж тем, не дремала. В кои веки раз было принято разумное решение: если художники хотят выставяться, хотя бы числиться официальными — пожалуйста. Им надо пойти навстречу — они моментально приобретут цепи, которые будут сами подкрашивать, и с удовольствием будут сидеть под колпаком, лишь бы на них смотрели. Через год после ВДНХ почти все "модернисты" Москвы стали официальными! У художников появилось три зала в Горкоме графики — два в подвале и один с окнами, где стало возможно показывать работы. Самоцензура возникла сразу — всем хотелось выставяться. Помимо этого, полупьяный и наглый председатель Горкома, в темных очках и на копытах, ходил вечерами по залам и тыкал пальцем в то, что необходимо было убрать. Художники очень быстро смирились с этим, как будто не было ни Беляевского поля, ни Измайлова, ни ВДНХ. Были отдельные попытки бунта, которые немедленно подавлялись. Помогало нечистой силе и то, что художники зачастую враждовали между собой. Было несколько "гениев", которые упорно лезли вверх. Среди художников возникали группировки, между ними происходили постоянные столкновения. Я пишу обо всем этом в прошедшем времени, но уверен, что и сегодня, сейчас, там происходит то же самое.

Модернисты, чьи работы продаются и выставляются на Западе, чьи фамилии широко известны, не участвуют в сваре, они как бы выше всего этого. Впрочем, в момент, когда они вдруг понимают, что их репутации и исключительному положению что-то грозит — принимают свои меры.

Никогда в жизни не думал, что профсоюзное собрание может быть интересным. Куда там, захватывающим! Наверное, ни в одном месте нашей страны не бывает такого...

Зал в Горкоме графики. Президиум на сцене. В президиуме — председатель Горкома (в очках, на копытах), так называемый "Совет секции" (что-то лагерное?), который состоит из 8-10 человек. В зале — человек 200 художников. Некоторые — выпивши.

Ведущий собрание художник К. встает.

К.: Товарищи! У нас сегодня на повестке дня много вопросов... (перечисляет). Выступающих сегодня также очень много...

Голоса из зала: Не всех записали! Впишите Г.!

(После шума Г. вписывают).

К.: Слово предоставляется председателю Горкома.

Пр. Гор.: Я хотел бы сразу приступить к делу... За отчетный период проведено шесть коллективных и две персональные выставки... показали возросший уровень... навстречу годовщине, которой мы посвящаем очередную выставку... Возросший уровень мастерства... Борьба с идеологически вредными влияниями... Единство рядов мастеров социалистического реализма...

(Художник Л. встает, подняв руку).

Л.: Разрешите спросить?

Пр. Гор.: ?

Л.: Вы сказали, что у нас повысился идейный уровень и что наше творчество является соцреалистическим...

Пр. Гор. (торопится): Что-нибудь непонятно?

Л.: Непонятно, какое отношение наши работы имеют к социалистическому реализму. Объясните, пожалуйста.

Пр. Гор. (переходя на "ты"): Я понял, Л., садись. (В зале шум, все прислушиваются). Дело в том, что понятие "соцреализм" стало теперь настолько емким, что включает в себя и такие направления, как экспрессионизм, сюрреализм... И вообще, Л., не перебивай! Я еще не все сказал... (говорит еще).

После этого выступает З., руководитель секции.

З.: Я хотел бы сделать несколько замечаний...

Голоса из зала: Кисти обещали, салон обещали, где все?

З.: Замечаний о нашей секции... порядка никакого у нас нет. Художники приходят пьяные... Кто там в предпоследнем ряду курит?

Голоса: Сам ты пьяный! Никто не курит!

З.: Взносы не платят...

Г. (вскакивает): Какие взносы?! Деньги откуда?! Ты картины продаешь, может, а я нет! Устрой меня в салон!

Вскакивает сразу несколько человек.

Все сразу: Салон обещали! Продажу обещали! Денег нет, жить не на что!

Г. (кричит): Ничего нет, зачем три года обещали?! (Чувствуется его восточный акцент).

Д. (встает): Ты здесь не шуми, Г., понимаешь? (Говорит тоже с восточным акцентом).

Г.: Это кто не шуми, я?

Д.: Ты.

Г.: А ты кто такой мне рот затыкать?

Д.: Сейчас из зала вылетишь за хулиганство, понял?

Г.: Это кто вылетит, я?

— Д.: Ты, ты, понял?!

Г.: Сам ты хулиган!

Д.: Это кто хулиган, я?

Г.: Ты хулиган!

Д.: Ах ты, сволочь такая, я тебе сейчас покажу, какой я хулиган! (Направляется к Г.).

Е. (вскакивает): Ты, Д., перестань орать! Ты всегда скандалы устраиваешь!

Пр. Гор. (вскакивает и начинает лупить кулаком по столу): Молчать! Хватит! Д., прекрати! З., наведи порядок, ты же ведущий! (Всеобщий шум в зале, оживление).

Д. (продолжает кричать): Я вам покажу всем "замолчи", сволочь такая. Я тебе устрою, Г., помнишь, как устроил? Сидят все, слушают, да? Как выставки устраивать, так Д., да? Вот ты скажи, Ж. (обращается к одному из "китов").

Ж.: Не хочу говорить, оставь меня.

Д.: Нет, скажи, скажи! Ты боишься, да?

Ж.: Отстань, прошу.

Д.: Боишься, я вижу! Картины на Запад продавать не боишься, а сказать боишься, да?

Ж. (вскакивает): Заткнись, сволочь! Я ничего нигде не продаю!

И. (Вскакивает и кричит): У меня жена беременная! Квартиру не дают, денег нет, салона нет!

Голоса из зала: На каком месяце жена?!

К., В., Е. (кричат): Хватит!

Д. (визжит): Рот не заткнете! Я вас породил, я вас и убью! (Всеобщий шум, крик и ругань).

И.: Жена беременная! Сообщу в Кремль, пожалуйюсь корреспондентам!

Г. (кричит, захлебываясь): Шизоид, стукач!

И. (наливаясь): Кто стукач?

Г. (сквозь крики и рев): Ты, ты стукач! Ты уже пятую жену меняешь!



И. (пробираясь сквозь ряды): Я тебе сейчас устрою, падло! Сам стучац, сам г..но!

Пр. Гор. (стучит в бессильной ярости): Молчать!

(Художники понемногу покидают зал).

Пр. Гор. (перестает стучать, устало): Объявляю перерыв.

После перерыва все возобновляется. Не стоит описывать дальнейшее. Все повторяется. Председатель Горкома обещает, как и три года назад, персональные выставки, салон, мастерские, поездки за рубеж, колонковые кисти... Обнадеженные и возбужденные художники расходятся.

ДЖОКОНДА В ПИТЕРЕ?

Три художника решили поехать в Ленинград. Там на квартире очень милой женщины — коллекционера Натальи Казариновой, открывалась выставка современного искусства. Вечером на перроне Ленинградского вокзала стояли три человека в черных дубленых полушубках. Художник К., один молчаливый модернист из Одессы и автор. Мы ждали Оскара и Сашу Рабиных. Около нас громоздились упакованные полотна. Суетливость и нервозность вокзальной обстановки влияла и на нас. Мы поминутно озирались, смотрели на часы, курили. Объявили посадку на наш поезд. Рабиных не было. И тут мы увидели, что к нам бежит жена Оскара — Валя.

— Оскара и Сашу арестовали!

— За что, как, когда?!

— Только что! Они вышли с работами, хотели сесть в такси. Подошло несколько человек в штатском, посадили в "газик" и увезли. Я — прямо к вам...

Что делать? Решаем быстро: ехать втроем. Валя остается. Только вошли в тамбур — поезд тронулся. И мы увидели: оскользаясь по обледенелому заснеженному перрону, бежит за вагоном человек в форме, с рацией.

Полночи не спали — рассказывали тихому одесситу о бурных буднях московских "нонконформистов".

В Питер прибыли в семь утра. Подождали, пока все выйдут. Надели полушубки, взяли картины и услышали в коридоре, перед нашим купе:

— Вот они, родные.

Перед нами — люди в форме.

— Выходите, выходите, с приездом вас! — ласково улыбаются нам встречающие.

Выходим. Перед вагоном видим художника Виталия Длугия — он приехал на выставку за день до нас, пришел сегодня встречать. Усы у Длугия топорщатся, глаза, как у дикого кота: его держат трое людей в форме. Один в штатском, проверяет документы. Немедленно вокруг нас образуется оцепление. Людей в форме — человек пятнадцать. Половина — с рациями. За их спинами маячат фигуры в штатском.

— Что случилось?! — возмущаемся мы.

Старший по званию коротко объясняет:

— Вы задержаны для опознания. Предлагаю следовать за нами.

Длугий тоже в черном тулупе. Прямо тулупный заговор какой-то! По перрону Московского вокзала в городе на Неве движется удивительная процессия: четыре черных личности с картинками в окружении построенных в каре людей в форме. Люди в штатском неотрывно идут рядом.

Мне подумалось, что со стороны мы похожи на служащих Лувра, переносящих "Джоконду"...

Нас довели до отделения железнодорожной милиции. Там оставили в комнате, разрешив курить. Окна зарешечены. Телефон, стоящий на столе — без диска, внутренний. На стене — большое зеркало. На нем написано: "ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ДЕЖУРСТВО ПРОВЕРЬ СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД".

Проверяем свой внешний вид. Не очень... Спросонья мы даже не совсем понимаем: что это? Почему мы сидим здесь? Не спим ли? На стене — диаграммы развития народного хозяйства, памятка для сотрудников, стенгазета. Все это называется — "комната политинформации". Входят два человека в штатском. Молодой — весел, напорист, ему очень хочется поспорить о чем-то с нами. Сдерживается в присутствии начальства. Начальник — уверенный, спокойный. Глаза суровые, внимательные, толковые. Говорит коротко, рубит фразы. Когда не говорит, на скулах играют желваки. Перед таким человеком приятно каяться даже в тех грехах, которые не совершал...

Начальник четко и сжато объясняет, не давая нам возможности вставить слово:

— Мы знаем, для чего вы сюда приехали. Приехали вы незаконно. Выставка у Казариновой — незаконна. Сбор от выставки пойдет в пользу политзаключенных. Ваше появление у нас — провокация. Предлагаем добровольно вынуть деньги. Мы купим вам билеты, и вы уедете в Москву. Десять минут на размышление. Советую не отказываться.

Остаемся вчетвером. Тут и думать нечего! Мы приехали в гости — какое право имеет кто-то запрещать это? Какие сборы? Какие политзаключенные? Да их вроде бы и нет?

Входит молодой. К. сразу набрасывается на него:

— Что за порядки в Питере? Что произошло?

Я тоже не выдерживаю:

— Говорят о хваленном питерском гостеприимстве, и тут такое!

Молодой несколько растерян. А тут еще К. начинает читать ему лекцию о международном положении. Через короткое время мы беседуем уже впятером. Молодой говорит нам, что он понимает наше положение, что он, собственно, ничего не имеет против модер-

низма, но приказ... Тут входит начальник. Мы ему заявляем — добровольно из Питера не уедем. Пусть сообщит своему руководству. Начальник идет звонить. Желудки у нас просто подводит. Просим разрешения сходить поесть. Выводят по-одному. В сопровождении охраны. В этом, правда, есть свои преимущества: не надо давиться в очереди в вокзальном буфете. Снова приходит начальник. Лицо его нахмурено. Получил за нас нагоняй.

— Итак, вы едете?

— Нет.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

Я пытаюсь воздействовать на него. (Он нас знает по фамилиям, мы же о нем — ничего, даже в какой организации работает).

— Разрешите нам хотя бы по Ленинграду походить. Мы оставим в залог картины.

— Нет.

Снова уходят люди в штатском. Сонливость наша прошла. Мы держимся хорошо. Еще раз проверяем наш внешний вид. Лучше, чем раньше... В 11 утра входят двое опекунов и несколько человек в форме.

— Встать!

Мы встаем.

— Вынимайте деньги. Если вы сейчас этого не сделаете — мы вас ошмонаем (так заявлено дословно), а за сопротивление получите пятнадцать суток.

Что остается делать в такой ситуации? Вынимаем деньги. Нам приказывают собраться. Этап на Москву? Выходим с картинами. Провожających меньше, чем встречавших. Двое наших начальников — рядом. В здании вокзала молодой быстро идет с нашими деньгами к дипломатической кассе, показывает какое-то удостоверение... Сопровождающие в форме, увидев, что мы не собираемся разбегаться, теряют бдительность. Они не видят, что К., стоявший только что рядом, незаметно, по стеночке, крадется к телефону-автомату. Мы развлекаем охранителей разговорами о модернизме. К. набирает номер Казариновой. Выстреливает одну фразу: "Мы здесь на вокзале нас забрали сейчас отправляют в Москву!" Подбегает один из охранителей и моментально бьет по рычагу. Но — дело сделано. Нас выводят на перрон. Поезд — с сидячими местами. Что мы видим?! Нам подают... пустой вагон! Там только трое людей в гражданском. Нас впахивают внутрь. Появляется железнодорожник. Под присмотром опекунов запирает обе двери на ключ. Двери в тамбуры тоже закрываются проводниками — с двух сторон. Запломбированный вагон? По крайней мере, ехать нам всем будет

очень удобно: семь человек на огромный вагон. Трое посторонних в салоне вагона — кажется, ничего не понимают.

Дернулся поезд. Поплыли назад провожающие. Начальник и молодой сотрудник вдруг улыбаются и делают нам ручкой... Избавились, слава Богу. До Москвы едем часов девять. За это время мы успели вдоволь выругаться. Трое пассажиров насаждают на нас, чтобы мы им рассказали, кто мы такие, за что нам оказывают такие почести.

На всех промежуточных станциях, где толпа в панике бежит вдоль перрона, чтобы захватить свободные места, нас встречают. Около нашего вагона — по всему пути следования — наряды людей в форме и в штатском, военные патрули. Двери не открывают. Везем "Джоконду"? Один из пассажиров пытается в Калинине вылезти с чайником. Наружный караул грозит через стекло кулаком... Пассажир потрясен:

— Что же вы такое сделали?!

Не говорим мы ему, что мы сделали и что можем сделать еще. К. только многозначительно намекает:

— Слушайте сегодня вечером "Голос".

Прикатываем в Москву. Проводники отпирают двери. Выходим. Тут оцепления нет. К. пытается с вокзала позвонить Рабиным. Внезапно появляется человек в сером и негромко роняет: "Домой".

Мы едем к Оскару. Перед домом — черная "Волга". Битком набитая. Оскар, Саша, Валя и Надя Эльская встречают нас объятиями.

— О вас уже сообщили! Вы ехали, а о вас сказали, что вы пропали по дороге!

Саша рассказывает:

— Мы пошли к такси, тут подъехала машина, нас посадили и повезли в какое-то заведение без вывески. Там сказали, чтобы мы не рыпались. В Ленинград ехать запретили. Привезли домой, поставили две машины — под дверь и с обратной стороны дома, приказали не выходить.

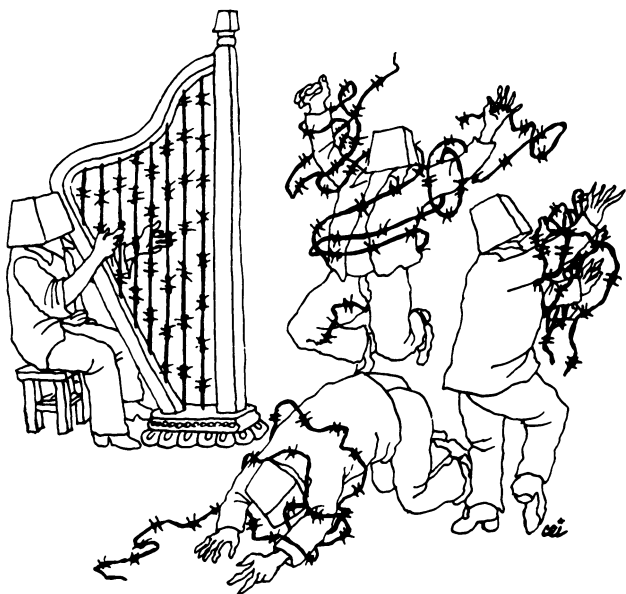
А выставка на квартире Наталии Казариновой все-таки состоялась. И наши работы, привезенные раньше, были там. До Ленинграда сумел добраться только художник Жарких. Для этого он сошел на какой-то станции недалеко от Питера. Ехал он в осажденный город с лыжами, в лыжном костюме, в очках...

МОСКВА — ПАРИЖ

За последние годы из России уехало много художников; те, которые считали себя непризнанными гениями, и те, которых просто не признавали. Уехали абстракционисты, сюрреалисты, поп-артисты и концептуальные евреи, известные своей неуправляемостью. Семья Рабиных тоже уехала, не могла не уехать. Некоторые умерли — неизвестно как. Оставшиеся здесь сидели тихо. Особенно в Москве. В Питере — взбрыкивали время от времени. И сейчас иногда там что-то еще происходит. Но в колыбели революции порядки жесткие. Московские модернисты продолжали успешно красить и подкрашивать свои цепи. Тихое это времяпровождение прервалось в декабре 1978 года. В секции живописи при Горкоме им. Потемкина вдруг пронесся слух, что будут разгонять... Художники всполошились. Горком в это время был, практически, без Председателя. То есть, он существовал номинально: приходил в свой кабинет, разговаривал по телефону. Зимой Председатель ходил в номенклатурной шапке из волка, в кожаном пальто, в темных очках. По-прежнему выпивал Председатель напитки, что приносили ему из горкомовского бара. Все чувствовали, однако, что дни его сочтены, что он уходит. Наш вождь и учитель оказался замешанным по уши в какие-то аферы со взятками. Какая-то другая мафия враждовала с мафией Председателя. Те и другие взывали к закону, к справедливости — стучали и топтали друг друга как могли. И в этот момент вдруг стало известно, что модернисты опять не нужны. Может, это другая мафия слух пустила, чтобы гражданина Вождя Председателя Горкома "схарчить" — но художники страшно перепугались. Потребовали собрания в Горкоме. Их собрали. Успокоили. Опять пообещали поездки за рубеж, кисти, мастерские. Слухи меж тем росли, обрастали подробностями. Уже говорили, что есть списки, кого будут исключать. Тогда несколько художников решили привлечь внимание к этой проблеме. В центре Москвы, на Садовой, жила коллекционер Люда Кузнецова. Я у нее довольно часто бывал. Люда — женщина самостоятельная, жила без мужа и держала салон. Это очень удобно, когда в центре Москвы неофициальный салон. Там бывало довольно много иностранных граждан. И вот художники пришли к Люде и рассказали все.

У меня уже начались неприятности, но я тоже находился на

Садовой. Несколько дней мы все раскладывали и примеряли, не хотели никаких повторений пройденного. И нас озарила идея: нужен Фестиваль Искусств. Поскольку много народу уехало, но и здесь тоже хватает, надо сделать совместную выставку. Одновременно в Москве, в Париже и еще где-то. Так и назвали все это — Фестиваль Москва — Париж. Решили сделать здесь каталог всех участвующих с нашей стороны и переслать его туда, чтобы там напечатали. Об этой идее узнали художники из Ленинграда и немедленно присоединились к нам.



НЕЧИСТАЯ СИЛА НА САДОВОЙ

Мартовским утром 1979 года семь художников, дочка одного из художников и сен-бернар Дуня сидели у коллекционера Люды Кузнецовой. Под окнами, во дворе, маячили фигуры в серой форме. 10 утра. Мы назначили на сегодня пресс-конференцию. Пригласили, помимо западных, и отечественных журналистов. На столике перед нами — 2 экземпляра наполовину готового каталога — Фестиваля Москва — Париж. Наша двухмесячная работа. Там человек 80 художников. Тех, кого не смогли запугать или купить обещаниями. Появляются гости. Один француз, один югослав, один американец. Этого достаточно. Другие корреспонденты, конечно, не явились. Сообщаем о планах. Югослав откровенно зевает. И действительно, что тут интересного? 80 жителей села Потемкина взбунтовались... Все записано. На все вопросы отвечено. Гости ушли. Мы готовимся заканчивать каталог, еще очень много работы. Надо написать письма и заявления — мы хотим все сделать правильно и официально. Мы законы уважаем, неприятностей не хотим.

Звонок в дверь. Видно, кто-то из художников. Сегодня мы фотографируем участников Фестиваля. Люда пошла открывать. Мы слышим какой-то шум, громкие голоса. Потом доносится крик Людмилы: "Закрывайте дверь!". Бросаемся к двери в коридор и видим: несколько людей в форме волокут хозяйку вон из квартиры, а двое направляются в нашу сторону по длинному коридору.

Захлопываем дверь, забаррикадировываемся. В окно видно (квартира на первом этаже), как Люду в одном платье бросают в воронок. Увозят. Во дворе все новые и новые фигуры. За дверью — скрежет. Пытаются открыть. Часть из нас — у окон, другие — у двери. Громко предупреждаем граждан в форме, что если они попытаются взломать дверь, будет большой скандал. Один из художников уже соединился по телефону с каким-то агентством печати. За дверью притихли. Пользуясь моментом, пока не отключили телефон, названиваем знакомым. За дверью громкий голос: "С вами говорит заместитель начальника отделения С.! Откройте дверь!"

— Не откроем! Отпустите незаконно арестованную хозяйку!

— Она задержана за сопротивление властям.

— Отпустите хозяйку, и мы уйдем.

Как же, уйдем... Все обложено, так просто они теперь нас не отпустят...

— Даю вам полчаса сроку. Если не согласитесь, выведем вас насильно.

— Не выведете. Мы остались в комнате Кузнецовой по ее просьбе.

За дверью опять стихает. Мы совещаемся и решаем: никуда не выйдем, пока не отпустят Людмилу. Будем сидеть здесь хоть 15 суток — если хозяйку осудят за мелкое хулиганство.

Голос за дверью:

— Вы открываете?

— Нет, отпустите Кузнецову.

На всякий случай стоим у двери, подперев ее. Внезапно все снова стихает. Серые фигуры исчезают со двора. Нам дали понять, что мы можем безбоязненно уходить — никто нас не тронет. Знаем, знаем...

Поздно вечером начинают появляться под окнами знакомые. Расспрашиваем, что делается на улице, вне пределов нашей видимости. Ничего особенного. Две-три патрульные машины, люди в штатском и несколько дружинников прогуливаются по Садовой.

Ночь. Сейчас предстоит ответственная задача: мы выпускаем в окно девочку, дочку одного художника, потом девушку-художницу. Труднее всего выпроводить сен-барнара. Дуня — огромное животное, килограмм на 40. Под окном наш человек тянет Дуню за поводок, мы сверху пытаемся столкнуть ее. Уперлась, как художники... Еле прыгнула. Теперь нас шестеро. Иудейское число? Дружно пишем в вазу. В присутствии женщин приходилось терпеть. Вазу тут же опорожняем в окно. Никто не вскрикнул, не выругался — под окнами никого нет! У двери, с обратной стороны, все время какое-то копошение, шорохи, поскрипывание. Смотрим в замочную скважину. Тихо, на цыпочках, по коридору и кухне разгуливают призраки с блестящими пуговицами.

На следующее утро, когда расслабленность наша прошла, принимаемся за работу: начинаем составление писем протеста и жалоб во всевозможные инстанции. Во дворе тихо. Днем прогулялись два человека в серых пальто, взглянули на окна. У арки, что ведет на Садовую, видны иногда одна-две фигурки в форме. Вечером снова переговоры через дверь с представителями власти. Безрезультатно. Иностранных знакомых к нам не подпускают. Один умудрился поговорить с нами через окно.

Слушаем радио: еще новость! В пяти минутах езды от нас, в американском посольстве — инцидент. Какой-то человек с гранатой прорвался во двор, на американскую территорию, и милиция застрелила его.

Утро третьего дня. Снова пишем. Телефон то включают, то снова отключают. Через окно подтягиваем авоськи с едой. Нас все время навещают. Фигур в сером не видно... Что это вдруг? Неужели оставили в покое? Но тут является одна девушка и говорит, что на Садовой, у входа во двор, в мастерской металлоремонта, у них целое гнездо: большая, горящая ярким глазом рация, люди в форме, люди в штатском... Но во дворе — ни души. Не нравится мне все это... Телефон опять вырубили. Что-то слишком тихо. И знакомые почему-то не просачиваются во двор. Что там, кордон, что ли? Половина десятого вечера.

— Внимание! — кричит от окна кто-то. — Двигается черная масса!

Видно, как во двор бодрыми шеренгами вливаются люди в форме. Слышен шум работающих моторов, въезжают автомобили! В окнах головы любопытных. Когда же увидишь еще такое! Воплощается булгаковская феерия: идет власть брать нечистую силу! Или же нечистая сила берет художников? Тем более, что дом, как уверяет Люда, и есть тот самый, в котором бушевали Коровьев, Азazelло и другие!



Париж. 6 апреля 1978 года. Демонстрация в защиту арестованных в Москве художников перед советским посольством.

ПЕРВОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО ЭББИ ХОФФМАНУ

Эбби, ну и смехота у нас получилась! Сидят шесть здоровых жлобов в квартире, в Москве. Кругом все обложено дядями, по-вашему — копами. Сидим и шумим:

— Отпустите хозяйку! Отпустите хозяйку!

Хозяйка-то наша, коллекционерша, в Бутырке, тюрьге сидит — дали 15 суток. А в квартире у нее, значит, заперлись шесть художников. Копами — кишмя-кишит, во дворе, под окнами, на улице, в коридоре.

Иногда за дверью вкрадчиво вдруг вздохнет кто-то, когтями поскребет — но дверь закрыта.

Вот мы сидим так третьи сутки, и немного уже шизеть начали.

Копы весь третий день, как в тумане — то потухнут, то погаснут. Иной раз пуговичка блестящая где-то перед нашим взором блеснет — и снова все тихо.

Вечером мы пожрали, чего Бог послал нам через окно через знакомых, радио послушали, узнали из "Голоса Америки", как мы сидим, и думаем: что дальше делать. Один из нас все время на стреме, у окна. Вот он кричит: "Идут! Во двор входят!"

Матерь родная! Выглянули мы в окно — во двор нечистая сила прет, тыща человек! И машины! Эбби, мы поняли, чем дело пахнет. Оделись быстро в пальто, чтобы раздетыми не взяли — холодно; сели у окошка, ручки свесили и ждем. Сели и ручонки опустили специально — не дай Бог, обвинят в сопротивлении власти — такой срок могут намотать! Значит, мы сидим, а нечистая сила возникает из всех щелей: под окном ухают, из парадного кудахчут, под дверью взлаивают. А после голос железный раздается:

— Слушайте, мы даем вам 5 минут, чтобы вы открыли дверь. Не откроете — вам же хуже будет.

Мы сидим молча, переглядываемся. Прошло 5 минут. За дверью слышен рев и толчки и грохот, и дверь с петель срывается! И всю комнату вмиг заполняет нечистая сила! Помню точно, впереди других бежит рыжий опер в зеленой нейлоновой финской куртке. Хавальник разинут, там фиксы мерцают, шапка пыжиковая на брови надвинута, а в руке — наперевес — фомка, ну, знаешь, такой маленький ломик. Ну, Эбби, дела! Они нас у окна попржижали, но стоят в метре перед нами, не подходят! А сзади в дверь их полчища

подваливают! Так набилось — у вас, небось, во всем Гарлеме копов не наберется столько!

Один, в сером пальтишке, так, ничего особенного, нос сливой, орет:

— Вста-а-а-ать! Предъявить документы!

А мы ему:

— Вы предъявите сначала!

Тогда этот, со сливой, командует:

— Взять!

И нас берут. Поднимают, и поодиночке, через их строй на лестницу направляют. Но, скажу честно, Эбби, вели себя нормально. Пальцем не тронули. Запад уже знал о нас, это и помогло.

А во дворе-то, Эбби, что делается! Там все шевелится от нечистой силы! Мигалки на коповских машинах крутятся, рации квакают, все волнуется.

Ну, запихали нас в разные воронки и повезли. Меня с одним нашим посадили и везут. Везут и везут. Время уже ночное. Куда везут?

Наконец, остановились. Приказали нам выходить. Вышли. Что-то вроде тюрьмы. Бетон, асфальт, камень. Входим внутрь через железную дверь. Коповская дежурная. А дальше по коридору — вижу — камеры. Ну, нас ошмонали, а после уводят по разным камерам. Меня дежурный ведет, молодой такой коп, с бачками и усиками; из провинции он, Эбби. Лязгнул ключом, потом другим, и меня в камеру впустил. Я вошел и огляделся: метра 4 на 4. Во всю ширину — из досок — нары. На нарах человек лежит, пальто накинуто. Все. Больше в камере ничего нет. Туалета нет. Крана нет. Голые нары. Под самым потолком окошко. Знаешь, Эбби, я тебе окошко обрисую: сначала прутья в палец толщиной, потом мелкая сетка, потом форточка, потом прутья снова, потом намордник, а после — небо черное.

Я с человеком двумя словами перемолвился, он по пьяному делу попал, часы, что ли, снял у кого-то, не знаю. В общем, Эбби, сижу на нарах. Курева нет. И вот человек этот увидел, что я маюсь, и протягивает мне папиросу "Беломор". А после он мне от своей жратвы кусок дал. Вот, Эбби, скажи, в ваших тюрьмах помогают так друг другу? Меня мужик совсем не знает, да и видит, что я не его покроя, а со мною делится. Эбби, полтора суток примерно в камере держали. После вывели, посадили опять в воронку и долго куда-то везли. Привезли в центр Москвы, в тихий переулок. Там такая шарага — товарищеский суд. Но это фуфло все, Эбби. Там сидит настоящий судья. В товарищеском суде смехота одна —

судить они не могут, только порицают. А тут — народный судья. Он тебе — раз! — и любой срок припаяет. Но он тут сидит сегодня только маленькие сроки давать. Я уж думал, что 15 суток получу. Стою я, это, перед судьей, а рядом с ним свидетели: копы, которые нас брали. Значит, копыта они прикрыли, когти убрали, стоят ангелки, чуть не краснеют. И объясняют, как девочки, что они, мол, тихие, а мы, шестеро, буйные. Ну, судья посмотрел на мою небритую рожу и дал мне денежный штраф. И вскоре меня отпустили.

Эбби, я тебе сжато рассказал. Понимаешь, может, у вас нам, в этой ситуации, больше бы попало. А такая ситуация может у вас быть? Нас пальцем не тронули. А был момент! Они перед нами прыгали, орали:

— Падлы! Гитлера на вас нет!

Другие ревели:

— Жиды!

Третьи:

— Сталина на вас, суки!

А один все спрашивал:

— Ну что, тебе показать, как делаются несрастающиеся переломы?

Эбби, эта нечистая сила нас не слишком напугала. Скорее, другие художники увидели со стороны, что может быть, если поперек пойдешь, и сами отвалили от нас. Вот, Эбби, какие делишки с московскими художниками-модернистами. А ты говоришь — Соломон Гуттенхейм, Соломон Гуттенхейм...

ВТОРОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО К ЭББИ ХОФФМАНУ

Эбби, основная заварушка у меня раньше случилась. Месяцев за пять до того, как нас, художников, повязали. Это все со мной случилось из-за того, что я рисую, чего не положено. А положено у нас рисовать, дорогой мистер Эбби Хоффман, только то, что властями сверху разрешено. А я все никак приноровиться не мог. То рисую, чего можно, а то — чего нельзя. Да ничего я такого и не рисую. Ну, подумаешь, болваны какие-то. Ну, человек стоит — босс, видать, шеф. И машина рядом. И около — вертухай, топтуны. Охрана, словом. А этому боссу (он приехал поглядеть) два болвана из-за пригорка солнце деревянное с лучами поднимают. Вот и все. Так они же думают, что это я их рисую. И решили они мне устроить веселую жизнь.

Я у своей подруги был. Вдруг, часов в 8 утра, резкий звонок в дверь. Подруга дверь раскрывает, а там... правильно, коп и еще с бабою. Ты, небось, по хлебальнику дал бы, а? Чтоб не буди-

ли. Но тут — шалишь! Вваливаются представители власти и чего-то невнятно объясняют. Баба в шубе и меховой шапке все время встревает. Эбби, ты представь: они вваливаются в восемь утра и требуют документы. Тогда я начинаю немного волноваться и говорю бабе: тут банды объявились, ходят, грабят, вы покажите свое удостоверение. Она лезет в сумку и достает красную книжку. Я вижу написано — следователь УВД. По-вашему — ФБР.

Тут они мне говорят: вы, Сысоев, сейчас для беседы с нами поедете. Я заартачился было, но они уговорили: сказали, что если добром не соглашусь, они силой заставят. Это, Эбби, уж точно. Только силой они все и могут. Я оделся кое-как, и выхожу с ними на лестницу. Там из ничего вдруг еще один шкаф возникает. Он пальцем ткнул в кнопку, лифт поднимает. Я тут пошутил; сделал шаг к лестнице вниз, в глаза смотрю и говорю:

— А что, если я сейчас... — и движение сделал, что побегу...

Шкаф не спеша руку поднял и ребром мне перед носом поводил:

— Еще раз шевельнешься, и вон там окажешься, — и показал, где именно. Где-то внизу.

После привезли меня в коповский отдел, ошмонали и заперли в пустой комнате. А баба-следовательша исчезла. Я часок проскучал, и вдруг она приехала. Все чин чинном. Допрос. Объяснила, что одного коллекционера шмонали и нашли, будто бы, мои рисунки с порнографией. Стала она мне допрос делать. Вообще, Эбби, баба ничего. Только вдруг в середине нашего мурлыканья она опрометью срывается и убегает. Меня запирают одного. Так она два раза делала. А когда прибегала обратно, очень возбужденная была. Глазенки горят, смотрит интимно, бюст вздымается. Я усек, Эбби, что она ездила к подруге моей и что там, видно, обыск идет. А возбуждение такой женщины средних лет понятно: где еще увидишь всякие западные издания? Во время шмона! Альбомы по искусству и все такое прочее. Вот знаешь, Эбби, скажу честно, будь я более испорченный или наглый, надо было эту бабу прямо на столе среди бумаг разложить. Она мне все о порнографии долдонит, а я ее спрашиваю — пусть мне расскажет, что это такое. Тем более, что она дверь запирает изнутри, когда допрашивает. Глазками следовательница подстреливает, все о половом воспитании беспокоится. Потом вдруг говорит, что сейчас обыск идет у подруги, а заодно и у меня дома.

Я-то уж подготовился, ничего. Тут выясняется, что нам больше нечего делить. Любовь не получилась. Она меня отпустила.

Я тихонько пошел к подруге пешком. Чего спешить? Там разгар шмона.

Дошел. Захожу. Опять следовательша в квартире. На машине шмыгнула, ясно. Пятеро в комнате орудуют, а подружка сидит за столом, их в упор не видит и делает свою чертежную работу. Мадам, что со мной запиралась, покрутилась и исчезла. Я бухнулся в кресло и часа два сидел, глядел, как профессионалы шмонают. Ничего, грамотно. Ты, наверное, спросишь: а где ж мой адвокат? Зулус ты, Эбби. Не положено тут никакого адвоката. Вот когда тебя захомут, да предварительное вызнание закончится, тогда только адвоката могут допустить. Да и адвокаты... Ладно, не буду тебя расстраивать.

Копы и двое из нашего ЦРУ все отложили, что им нужно унести из моих вещей. Один на копытах, в финском пиджаке, прошел в коридор и принес здоровенный мешок. Ваши тоже с мешком ходят?

Есть такое выражение у нас: что ты, такой-сякой, будто тебя пыльным мешком из-за угла хряснули? Это когда человек не в себе. Вот я сижу, подруга чертит, а копы в мешок мои невинные вещи кладут. С их точки зрения — все незаконное, все запрещенное.

Вскоре нечистые испарились, оставив нам список изъятого, и мы с подругой поговорили, как следует. Как Божий день ясно, Эбби, они решили меня захомутать. Они все шмонье разберут, что-то зацепят и будут меня тащить, пока не посадят. Допек я их своими рисунками, Эбби. Упырь не любит смотреть фильмы про Дракулу, как считаешь? Они себя в моих рисунках видят ясно, я и есть главный преступник. С этого дня, Эбби, все и покатилося, наискось и вниз.

ТРЕТЬЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО ЭББИ ХОФФМАНУ

Эбби, ты попадал в ситуацию, когда бьешься, как рыба об лед? Вот ты бьешься-бьешься, а потом начинаешь окостеневать. Хвост примерзает, потом голова. Так я бился с нашими ФБР и ЦРУ. Это довольно бесперспективное дело. Я им пишу жалобы, что они, мол, нарушали закон, что много было несправедливого, когда они пришли и стали все мое шмонать. Книжки-то причем тут, если я порнограф? Может, ты слышал, в России, помимо самоваров и водки, были еще поэты и писатели. Ну там, Мандельштамы, Пастернаки, Цветаевы всякие. И все это у меня унесли. Сложили русскую литературу XX века вместе с Гогеном, Магриттом и еще со многими другими в мешок, взвалили на плечо — и вниз, в свою опер-машину. Эбби, это очень горько и обидно, когда все, что ты собираешь, и достаешь годами, вдруг скопом у тебя крадут. Ты соображаешь, наверное,

что если бы все, что у меня утащили, я мог запросто купить — скажем, в супермаркете, то и разговору бы не было.

Понимаешь, Эбби, тут говорят, что мы — самая читающая страна. Может, поэтому или еще почему-то, но в России книг любимых совсем нельзя достать. Как тебе объяснить, чтоб ты понял. Ну, представь, что стоит статуя вашей свободы, она только в Нью-Йорке и нигде больше ее нет. Есть у вас открытки, брелки, безделушки в виде вашей свободы — но это все не то. С книгами у нас так же. Вроде бы есть книги. Но подходишь и видишь: это справочники, словари, учебники... И все! Книжки настоящие русские продаются для иностранцев, на ваши тугрики. Или же они, книжки, у вас лежат, в ваших советских американских магазинах. Потому — обидно, эх, досадно, до слез и до мучений, что в жизни так поздно... — поет Теодор Бикел.

Я писал жалобы, а потом получал из нашего ФБР ответы, и очень ясно ощутил, как мягка человеческая голова, когда с разбега об стенку ею бьешься. Я пишу им обо всем, что тебе написал, а мне ответ приходит: никаких нарушений со стороны органов не обнаружено.

Представь, ты идешь по Файф авеню, подходишь к благородному, на вид очень интеллигентному джентльмену и спрашиваешь:

— Эксклизми (т.е. прошу прощения), сэр, не будете ли вы столь любезны сказать мне, который сейчас час по Гринвичу?

А благородный джентльмен в прекрасно сшитой тройке с бордовым галстуком, в черных лакированных ботинках, смотрит на тебя, потом расстегивает штаны и показывает пиписку.

Они мне это дело уже два года показывают, а меня в порнографии обвиняют.

В общем, Эбби, я все писал и писал, а они мне все показывали и показывали. Сначала я, вроде, свидетель был, а после они видят, что я упрямый, и начали на меня прямо давить: взяли и сделали уже мне статью. Я на допросы в наше ФБР ходил, так они мне домой бумажку прислали: вы, мол, Сысоев, обвиняетесь теперь в порнографическом распространении. Такие дела, Эбби.

Я еще побрыкался некоторое время, а после вижу — уж очень они наседают, прут — как негры за пособием, и ушел. Испарился я, Эбби. Очень мне хотелось рисовать. Я вообще любил всегда рисовать, а сейчас мне особенно хочется. И вот я вещички сложил, взял и ушел, с подругой своей попрощавшись. У меня никакого плана определенного не было. Думаю, что я все-таки правильно сделал, Эбби. Я за это время много всего нарисовал. И они меня искать начали. Наши фэбэрушники. Через полгода, как я смылся, меня в розыск объявили:

WANTED SYSSOEFF

Такие дела, Эбби. Сам понимаешь, при чем тут порнография? Что я, маркиз де Сад, что ли? Все это мне тошно писать. Надоело повторяться. Но для тебя, думаю, будет довольно интересно прочесть, как здешняя машина работает. Еще вот что забавно: если ваших копов против наших поставить, войско на войско, кто победит? Давай, Эбби, поспорим на мой или твой гонорар. Я на наших ставлю. Я ваших в кино видел — здоровенные слоны! Наши поменьше. Но у наших идейно-политическое воспитание на высоте, а ваши — жулье. И на лапу берут. Давай спорить — наши ваших победят!

Вообще-то, не надо этого. А то победят ваших, так вы вообще на улицу не сможете выйти — всех ваши же блатные перережут. Нет, пусть они не дерутся, а пусть лучше все вместе объединятся! Представляешь, что будет? В Нью-Йорке копы с нашими перемешаны, в Москве — то же самое. Ваши ходят на политзанятия, а наши стали, как ваши — на лапу брать.

Так и сольемся вместе, в едином строю, с едиными целями — во имя общего светлого будущего.



КИРПИЧ ИЗ "БЕРЕЗКИ"

Когда я порвал всякую связь со своим домом, я еще встречался некоторое время с друзьями. Я пришел в гости к другу, что по-русски говорил почти, как русский. Мы посмотрели немного американский видеофильм и он сказал мне, что пора идти. Вышли из подъезда. Иностранное гетто сверкало всеми красками. Стояли красивые иностранные машины. Яркие иностранные негритянские дети играли на сером московском асфальте. Мы пошли к машине моего друга. Тут внезапно на территорию гетто въехала реанимационная "скорая помощь". Прошу запомнить этот факт. На машине крутились вертушки, вся она была необычайно пестро оформлена. Когда мы выезжали, пришлось на минуту остановиться у контрольной милицмейской будки. На улице был затор. Друг сказал мне с огорчением:

— Обращался к вашим, хотел установить УКВ-телефон для связи с бюро. Сказали — нельзя. Я теперь вожу с собой это...

Он полез в маленькое отделение и показал мне телефонную трубку с проводом, который не шел никуда. Тут же, перед милицмейским взором, я приложил трубку к уху и стал что-то говорить... Друг решил довезти меня до Трубной, а перед этим, буквально на пять минут, заехать в "Березку".

Продуктовый магазин "Березка" у Белорусского вокзала всегда отгорожен жалюзи от взоров жителей. Западные знакомые жаловались на скудный выбор продуктов и их дороговизну в этих оазисах буржуазного сервиса. В таких случаях я всегда говорил:

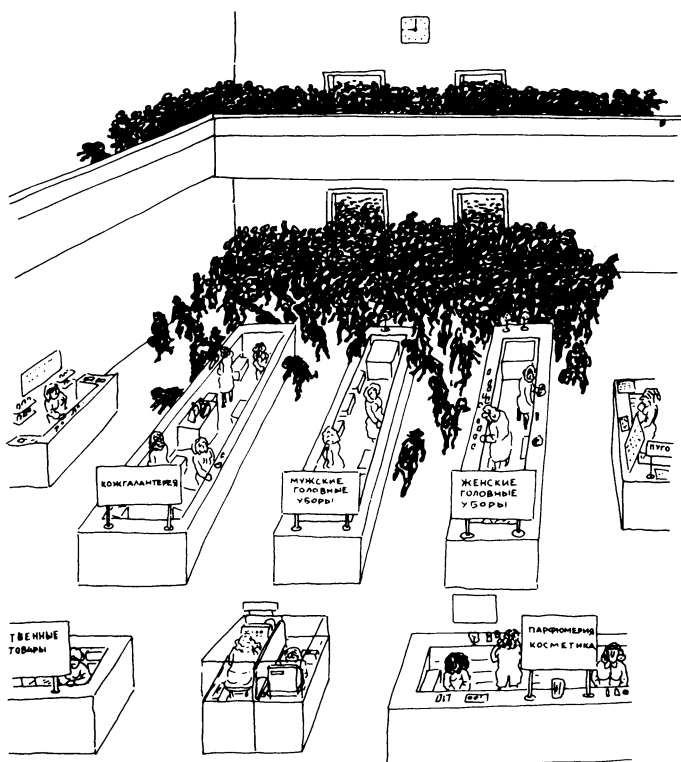
— Покупайте продукты только в обычных магазинах или на рынках.

Тогда они начинали дико хохотать...

Поскольку все познается в сравнении, то продуктовый магазин "Березка" является для нас тем конечным пунктом счастья, к которому мы так успешно стремимся.

А западные дезинформаторы-злопыхатели пусть устраивают перед "Березками" в Москве демонстрации протеста.

Обвиняя нас в нерадивости, лени, татаро-монгольских отклонениях, возмущаясь нашей покорностью и холуйством, западные жители нашей столицы ни разу не рискнули выразить вслух протест против ужасающих условий, созданных для них в "Березках".



9 утра. ОТКРЫТИЕ УНИВЕРМАГА.

Мы зашли с другом в магазин. Естественно, я просто зритель. Не хватало мне еще валютных операций! Ведь я уже порнограф!

Идем мимо рядов. Да, совсем никуда не годится выбор в "Березке". Пиво в жестянках — всего трех видов, сигарет всего видов двадцать, не больше. Пока мой приятель расплачивался, я вышел на улицу. Стою у выхода из магазина. Поворачиваю голову направо: с дальнего угла автомобильной стоянки, из-за машин, медленно поднимается человек и наводит на меня объектив. Одет он в белую рубашку. Так и назову его — Человек в Белой Рубашке (ЧБР). Он долго крутил объектив, щелкал, переводил рычаг, снова щелкал. В этот момент подкатила к стоянке реанимационная "скорая помощь". Вышел друг с коробкой из магазина.

— Смотри, дорогой, что делается, — я указал рукой прямо на фотографирующего. Тот усердно продолжал щелкать затвором.

— Ничего особенного, я привык, — сказал друг.

— Я тоже, но что будет, если они начнут сейчас следить за мной?

— Чепуха, — сказал друг. — Садись, поехали. — Он вынул из коробки сумку и дал мне. — Это тебе.

Там лежал блок сигарет и две бутылки тоника.

На Трубной мы расстались. Я должен был зайти к знакомым коллекционерам, но прежде мне хотелось проверить, нет ли за мной хвоста. Я никак, никак не мог привести кого не надо в свой новый дом. Почуял я что-то неладное очень скоро. Спину иногда буравило что-то, чей-то недоброжелательный взгляд прожигал рубашку. Стояла жарница. Я ходил по сретенским переулкам уже три часа. Заметил пять человек, что сменяясь, шли за мной. Скрыться от них не удавалось. Наконец, как мне показалось, удалось отделаться от нескольких. Я свернул через переулок во двор. Никого. За мной только что шла запыхавшаяся женщина. До этого она что-то делала со своей сумкой. Открыла ее и, кажется, что-то говорила в нее. Я прибавил шаг. Внимание! Сейчас я выхожу на Рождественский бульвар, перехожу его и ныряю в подворотню проходного двора. Пошел! Между машинами бегу через бульвар. И... почти натыкаюсь меж деревьев на женщину с сумкой. Она дышит, как загнанная лошадь. Лицо напряженное. Крепкая дама. Видать, самбистка. Когда я пролетаю мимо, она отворачивается, делая вид, что я ее совсем не интересую. Бегом, через дорогу — в проходняк! За спиной — кто-то в белом. Теперь оглядываться некогда. Вперед, будь что будет! Мне надо уйти. Бегу. Сейчас выскочу в переулок, тут еще масса проходных дворов, я уйду! За спиной — топот. Прерывистое дыхание. И вдруг...

— Стой, падло, сука, б..дь!

Выскакиваю в переулок. За спиной снова:

— Стой, сука!

И тут же сзади что-то грохается, метрах в двух. Обернулся я и притормозил: оранжевый кирпич, расколотый, валяется на освещенной солнцем мостовой. А мимо меня проходит ЧБР и невнятно матерится. Впереди быстро возникает вдруг милиционер — лейтенант ГАИ с рацией, идет мне навстречу.

— Стойте! — командует он мне. Стою. ЧБР удаляется, оборачиваясь. Грудь его ходит ходуном, он устал. Издали продолжает грозить. Я весь мокрый от пота.

— Задержите этого человека, — говорю я лейтенанту, указывая на уходящего ЧБР. — Он бросил в меня кирпич.

В переулке никого. Из соседнего двора на нас лениво смотрят доминошники. Пот льет с меня ручьем. Рубашка вся мокрая. Тянет время лейтенант ГАИ.

— А документы у вас есть? — спрашивает он.

Смело протягиваю ему документы. И потом коротко рассказываю все, ничего не скрывая. Смущается лейтенант. Не привык он, видно, к таким делам. Но записывает деловито мою фамилию и данные в блокнотик.

— А что у вас в сумке? — спрашивает он.

— Сигареты и тоник. Показать?

— Нет, не надо.

— Эх, лейтенант, лейтенант. Я все понимаю. Служба есть служба.

Он молчит. Я рассказываю ему о женщине с сумкой. Тут как раз мы выходим на бульвар, и я вижу в отдалении, у подъезда, мою преследовательницу. Быстро указываю на нее лейтенанту:

— Вот она! Пожалуйста, давайте подойдем к ней и проверим документы.

Опять медлит лейтенант. Женщина скрывается. Лейтенант козыряет мне, показывая, что я свободен. Значит, нужно было просто установить — кто я, что делал в "Березке". Действительно, что русскому делать в продуктовом магазине для негров и белых? Крепкие, хамоватые молодцы — холуи-шоферы номенклатуры, что по сигналу хозяев тащат ящики из "Березки" — не в счет, конечно.

Я иду уже открыто к своим знакомым. Аида Сычова открывает дверь и ахает:

— Сысоев, что с тобой?!

Я смотрю в зеркало: на мокром от пота лице — черные полукружья. Глаза запали, дышу, как паровоз. Я просидел у Аиды до полной темноты. После вышел тихонько и пошел пустыми двора-

ми. Захотелось мне еще раз провериться, прежде чем идти на свою квартиру. Через совершенно пустые переулки, темные дворы и подворотни выхожу на Садовую. Еду в сторону своего пристанища. Вдруг толкает что-то: надо выйти, последний раз провериться. Выхожу. Ныряю в пустую, полуосвещенную улицу. Все тихо. Иду в тени. Впереди вижу забор, какие-то доски и баки на мостовой. Есть узкий проход. Это прекрасно! Если они все-таки следуют за мной, машина их не проедет, и я кое-что замечу. Прибавляю скорость, перепрыгиваю через доски. И сзади меня освещает ярчайший свет автомобильных фар. Итак... сейчас машина остановится перед препятствием. Они выскочат. У меня несколько секунд в запасе. Бросаюсь в какие-то кусты, потом куда-то вбок, еще раз сворачиваю, и снова — бегом! За спиной — истерические звуки милицесской сирены: иууу-иууу... На помощь кого-то зовут, что ли?

Я бежал какими-то закоулками, пугал парочки в темнейшем сквере. Останавливался, замирал, потом тихо шел дальше. Целую бригаду обманул. Но стоило это дорого. Кирпич мог быть брошен и не мимо, а прямо в спину. ЧБР не промахнулся бы, если б захотел.

В тот раз меня просто попугали. Кстати, бросание кирпичей в освещенных закатным солнцем переулках и подобные олимпийские шутки практикуются чаще в провинции, а не в столице. Почему это произошло со мной? Были ли они разозлены до предела тем, что несколько часов водил я их по жаре? Показалось ли им подозрительным, что я "говорил" с кем-то по телефону из иностранной машины? И зачем возникала "скорая помощь"? Или выполняли они буквально приказ — следить и не слезать?

Может быть, было то переходное время изменения стоимости товаров, когда 200 штук американских сигарет и две бутылки тоника стали стоить один Кирпич...



САМАЯ ЗДОРОВАЯ В МИРЕ

В психодиспансере висит на стене плакат:

ХОДИТЕ ТИХО, ГОВОРите ТИХО

В этой немудреной формуле заключается большой смысл. Действительно, как только ты начинаешь топать или громко говорить, это воспринимается как признак обострения болезни.

Когда знакомый сумасшедший Иосиф приходит в диспансер, он ведет себя согласно рекомендациям психоадминистрации. Иосиф приходит отмечаться регулярно. Для получения пенсии за сумасшествие, он должен убедить врачей, что он не выздоровел.

В кабинет врача Иосиф входит не здороваясь. Молча подходит к умывальнику и очень тщательно, несколько раз, моет руки с мылом. Потом вытирает их полотенцем, которое достает из своего детского портфельчика.

Врач быстро заполняет карточку и задает сорокалетнему пенсионеру с детства всего три вопроса:

— Хотите ли вы работать?

Иосиф отвечает:

— Нет.

— Ходите ли вы на танцы?

— Нет, — снова отвечает больной.

— Вы читаете книги?

— Только чистые детективы, — быстро отвечает Иосиф и встает со стула. С моим знакомым сумасшедшим все просто. Он — официальный, так сказать, идиот. Признанный законом шизофреник. Но как отличить больных от здоровых, не пользуясь услугами психиатров? Да и проверяет ли кто-то их?

Едут по улице машины, торчат из них разнообразные антенны... Из пикапчика, что остановился около кучки сионистов, справляющих в среднерусской полосе п е й с а х, вдруг выдвигается труба остро направленного микрофона. Над квартирой неблагонадежного сверлят дырку и вставляют микрофон. Домашний телефон свирит и булькает — стоит поднять трубку. Телефоны-автоматы поют, как соловьи... По улицам ходят люди с саквояжами "дипломат". Они хорошо подстрижены, модно одеты. Внимательный взгляд их не пропустит ничего. Любой подозрительный тип будет взят на заметку. На премьерах и вернисажах такие люди гуляют среди публики. Одно ухо у них повернуто всегда в сторону говорящих.

Во всех компаниях есть свои стукачи. Есть целая серия анекдотов о стукачах. Стукачи любят рассказывать анекдоты. О стукачах они тоже любят говорить. Стукачи не знают других стукачей. Стучат и на стукачей. На самом деле — стукач это тот, на кого никогда в жизни не подумаешь. На Западе полно стукачей. Президенты и министры, начальники полиции и разведки — все стукачи. Русские эмигранты в Париже и Нью-Йорке — стукачи. Высланные тоже стукачи. Иностранцы в Москве — стукачи. Горничные — стукачихи. Не говоря о шоферах, секретарях и других. Все знаменитости — стукачи. Рядовые граждане — почти все стукачи. Врачи психодиспансера — стукачи, и сумасшедшие тоже. Диссиденты и зэки — стукачи. Студенты, школьники и дошкольники — все стучат. Не стучат только те, к кому стукачи ходят с заявлениями или докладами.

Удивительно, как тихо все-таки живет при таком стуке. Кажется, если все стучат друг на друга — пора уже всех брать. Почему это не происходит? Может быть, просто шизофрения или мания преследования развилась настолько, что мерещится всюду Неизвестный Стукач? Или же...

Конечно, ничего этого нет!

Все преследователи и машины, и микрофоны, и стукачи мерещатся. Просто мания преследования. У меня за два года развилась мания грандиоза, перешедшая вскоре в манию преследования.

Ничего нет, ничего нет, ничего нет.

Микрофонов нет, микрофонов нет, микрофонов нет.

Машин марки "Жигули" с номерами МНЕ, МНУ, МНО — нет, нет, нет.

В меня никто не бросал кирпич.

В меня никто не бросал кирпич.

В меня никто не бросал кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Никто Ее не преследует.

Никто Ее не преследует.

Никто Ее не преследует.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не хочет посадить меня.

Никто не хочет посадить меня.

Никто не хочет посадить меня.

Я всю жизнь только и делал, что распространял порнографию, порнографию, порнографию.

Я не Сысоев, не Сысоев, не Сысоев.

Я не родился в 1937 году, нет.

Я не родился 30 октября, нет, не родился.

Меня нет, меня нет, меня нет.

Ее нет, Ее нет, Ее нет.

Стукачей нет, стукачей нет, стукачей нет.

Топтунов нет, топтунов нет, топтунов нет.

Тихарей нет, тихарей нет, тихарей нет.

Наседок нет, наседок нет, наседок нет.

Сексотов нет, сексотов нет, сексотов нет.

Микрофонов, магнитофонов, "клопов", лазерных подслушивателей нет, нет, нет...

Шизофрения есть.

Шизофрения есть.

Шизофрения есть.

Это одна точка зрения. А если представить на короткое время, что шизофрении нет, а все остальное есть?

Кто же тогда больной?

Кто это с таким усердием собирает данные о собственных гражданах? Кто это роется под землю, на 10 этажей вглубь? Каменщики, что вы там строите? Тюрьму ли — внутреннюю? А не хранилище ли для многомиллионных ячеек с информацией? А уши, антенны, приборы-усилители куда направлены? Да новое что-либо услышат? Что и кого слушают?

Кто же это сидеть будет, если каждый настучит?

Уж не болезнь ли это?

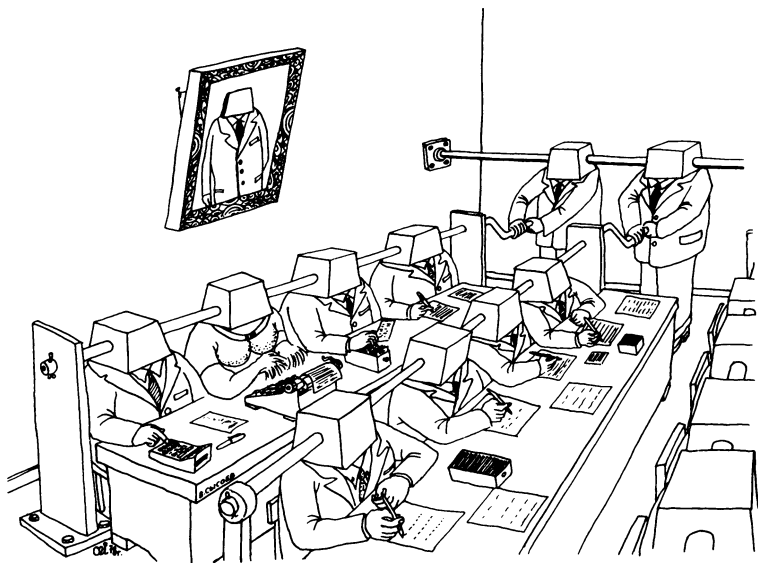
Может ли врач-стукач определить болезнь больного-стукача?

Какой же институт судебной психиатрии определит что-то безумие, если безумны все?

Мой приятель, что провел пять лет в Казанской спецпсихолечебнице, которого кололи французским импортным средством для изгнания души, был явным сумасшедшим.

Подумайте сами: он осмелился вслух читать сатирические стихи и частушки! Разве нормальный не побоится этого? Да еще написать на вступительных экзаменах в МГУ "Воззвание к декабристам 1984 года"!

На приятеля не стукнули, он сам на себя стукнул.



КОМНАТА ЛЮБИТЕЛЯ ПОП-МУЗЫКИ.

Зачем, собственно, весь этот стук? Стучи, не стучи, все равно ничего не меняется. Если стук это работа, то все идет, как в анекдоте: одни делают вид, что работают, другие делают вид, что платят им... Хоть целую жизнь стучи — на дачу все равно не настучишь. Если бы 30 сребренников по официальному курсу стоили, скажем, 10 тысяч рублей — куда ни шло. Стучали же раньше бесплатно. За такие деньги — кто не настучит! Но ведь на деле...

Тут прозорливый читатель немедленно спросит:

— Откуда это автору известно, что на деле?

Просто догадаться: я и есть стукач!

Сам на себя стучу, потом доносы пишу. Сам себя на допросы вызываю, сам на них не хожу, сам от себя прячусь...

Некоторая сумбурность повествования может вызвать у кого-то подозрение в моем психическом здоровье.

Я болен, болен. Я очень хотел бы быть затянутым по уши в шизофренический мир. Где сестра, отец и друзья становятся стукачами. Где соседи сидят под окнами с красными повязками. Но это все есть, есть, есть. Никто не знает точно, сколько шизофреников приходится на душу населения. Могу не сомневаться только в одном: тот, кто так панически боится того, чего нет — нездоровый человек. Если американо-израильско-чилийские шпионы собирались на Олимпиаде заражать детей сифилисом при помощи жвачки — они шизофреники, конечно! А если нет?..

Шизофрения необходима, как воздух. Она спланирует разобщенность и раздвоенность души. Параноику не стать шизофреником. Шизофренику можно стучать на параноика. Американо-израильско-египетская военщина реакционна и больна манией преследования. Их параноя — самая безумная в НАТО.

Наша шизофрения — самая здоровая в мире.

Самая здоровая в мире.

Здоровая в мире.

В мире.



ОНИ ПРИШЛИ, ЭББИ!

Я сидел в своей берлоге и заканчивал письмо. Об Эбби я узнал по "Голосу". А после уже увидел фото Эбби Хоффмана. Идет он себе по городу Майами, штат Флорида, с двумя хорошими девушками. Идет себе Эбби и ликует. Не знаю только, когда щелкнули его, то ли тогда, когда он хиппарем был и в лидерах ходил, то ли теперь. Эбби — парень ушлый. Шесть лет скрывался. ФБР хотело его за наркотики захомутать, прихватили Эбби. Он под залог вышел и смылся. Шесть лет в бегах был. А как книжку в подполье написал, сразу боссом стал.

Вот я, сидя в берлоге, и написал Эбби. Так и так, мол, Эбби. Ты скрывался, и я ушел из дома. Ты за наркотики — я за порнографию. И не поймешь — то ли ФБР и ЦРУ ваше и наше мухлюют, то ли мы с ним действительно уголовники. Я просто так написал. Чтобы Эбби ничего такого не подумал, я ему прямо сказал: мне от тебя, дорогой, ничего не надо. Я просто пишу близкому, можно сказать, человеку.

Вот я написал, а тут и ночь уже. Мне как-то тревожно было. Сначала думал, что вокруг что-то не так. Интуиция дальше повела, я понял, что не рядом плохо, а где-то далеко. Почудилось мне, что надвигается что-то, чему я сразу определения не нашел. Мое гнездо сейчас тихое, но я чую: не то что-то, где-то нечистая сила какие-то приказы отдает, моторы заводит, рации проверяет, а, может, и огнестрельное оружие.

Следующий день выдался тихий. Я по лесу прогулялся, было солнечно и природа вокруг была спокойна. Снег подсел, черная на цепи бесится, гулять просится. Ну уж дудки! Она недавно на сутки сбежала. Да пожалуйста, если природа требует. Но мне от черной помощь нужна: ее нюх и гавканье. Черная у меня тонкая — где кто пройдет, она сразу голос дает. День у меня прошел хорошо. С утра малость подтопил, сготовил дрянь какую-то, потом проветрил и сел рисовать. Много сделал. Так часов до семи и рисовал. Тут меня как стукнуло что-то: я вдруг понял, что сейчас обо мне очень настойчиво вспоминает кто-то. Разные люди могли, конечно, этим заниматься в семь часов вечера. Но я быстренько сообразил, что не дяди-рукокрыты вспоминают, а кто-то близкий. Это Она обо

мне вспоминала весь тот вечер. Я мысленно с Ней поговорил, а сам сквозь занавески на дорогу смотрю. Редко-редко какой прохожий пройдет, с поклажей или с санками. Люди быстро идут, темнеет на глазах. Занавесочки на окнах я не раздвигаю — на всякий случай. Мой театр от их зрителей всегда отгорожен. У меня внутри свой театр — тут уж я без занавесок обхожусь. А тонкие муслиновые или шифоновые занавески — это от всех других. Я сейчас очень благодарю тех передовиков производства, а, может, и рядовых ткачих, что, встав на юбилейную вахту, а, может, и сверх плана, а, может, и по плану, выпустили ткань, из которой занавесочки на окнах у меня сделаны. Тканями теми, видать, можно земной шар закатать, но мне такое количество на надо, мне метров шесть всего. Шесть метров меня спасут.

Вот я сижу, гляжу на дорогу и вдруг вижу: идет! Сначала появился на дороге, а потом меж деревьями затерялся, и вот снова отчетливо виден. Сам серый, а куртка бежевая. Я этих субчиков теперь отличаю от местных жителей. От леса в мою сторону идет, по тропке единственной, к дому!

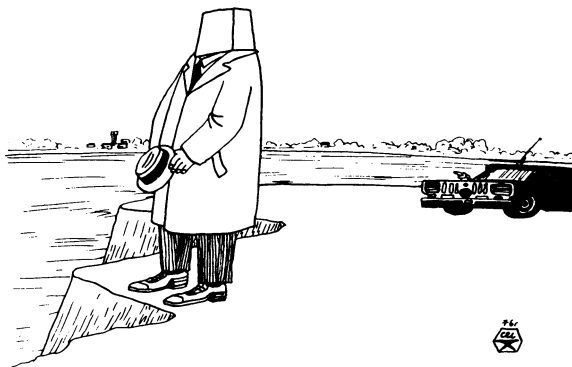
Местечко, где я живу, довольно людное. Если нечистая сила по мою душу идет, не сразу дойдет. Кругом переулочки, закоулки, тупики. Впрочем, берлога моя видная, и собака на цепи. И еще кое-что, что на след навести может. Если серый в бежевом не дуб — он смекнет. Вот он быстро-быстро дошел до моего дома. Я от окна отодвинулся. Он прямо передо мной. После исчез из поля зрения. Поле-то узкое: рама, занавеска — между ними щелка в два пальца. Я замер. Сижу и жду стука в дверь. Нет. И псина моя не лает. Что-то тут есть, то ли хитрость техническая, то ли еще что-то. По всем раскладкам — собака чувствует плохое, должна гавкать, а тут молчит. Я вскочил и бесшумно вышел на крыльцо. Будь что будет! В конце концов — если уж они тут — чего ж прятаться! Глянул на собаку — черная убралась в будку. Носа не видно. А человек идет по дорожке, по моей улочке. Он быстро так шагал, этот серый, и посекундно оступался и проваливался в рыхлый снег. Я его взглядом проводил — видел, как он до конца улицы дошел. Потом остановился. Собаки по всей улице, как взбесились, хрипят и гавкают, а моя псина замерла. Серый не свернул на боковую улочку. Он стоит спиной ко мне и раздумывает. Ясно, сейчас обернется. Вот он... Тут же я в дверь скользнул и тихо замок защелкнул. В комнате стал так, чтобы с улицы он меня и сквозь щелку не разглядел. Свет не горит. На улице почти стемнело. У меня сомнений нет — серый ищет меня. Сейчас все кончится. Он снова идет к дому. Дом — явно жилой. Куда же делся объект наблюдения?. Ясно, в избу надо постучаться. Вот сейчас, сейчас... Я не могу выглянуть, боюсь встретить

ся с ним взглядом. Слышу шаги за окном — проваливается серый в снег, дышит с натугой. Псина молчит Он не зашел! Он проходит! Прошел и стал ярдом с домом. Он в трех метрах от меня. Нас отделяет занавесочка, двойные оконные рамы — и все! Нечистая сила меня не чувствует! Из глубины темной комнаты я его вижу: лицо, как и положено — никакое. Он очень торопится. Только сейчас заметил — в руке у него портфель.

О, Эбби, если бы ты посмотрел на это все сверху! Нет, Эбби, твои фэбэрушники и цэрэушники так липовато не работают. Эй, Эбби, гляди! От леса, быстро — к серому, к моему дому подваливает второй. Пальто черное, брюки темные, шапка черная. На шее — светлый шарф, в руке — тоже портфель.

Эбби, сейчас все решится! Я у окна. Серый что-то тихо говорит черному, делает ему знак: дуй, мол, назад, видать, объект в стороне где-то, упустили опять. Не доходя до леса, серый идет куда-то вбок, направо.

Эбби, нечистая сила была рядом и сейчас испарилась! Может, они меня давно "секут", а я не чувую? Нет, непохоже! А мании преследования у меня нет — это точно. Эбби, ты подумай, я решил — уже все, а они в сторону подались. Скажи мне, Эбби, есть Бог или нет? Или это Она за меня в тот вечер неистово молилась? Я сказал, что возверовал тогда, как мне плохо стало. А Он, или Она, услышали и увидели, так, что ли?



ЗА НЕЕ, ЗА ЦРУ, ЗА ЭББИ, ПОМОЛИСЬ, ГОСПОДИ

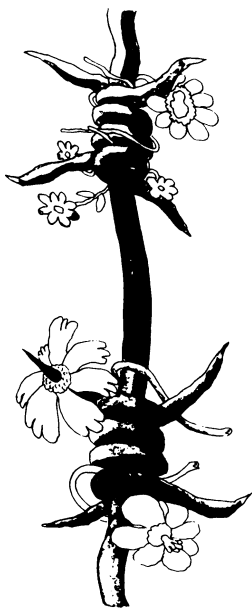
Я оттуда ушел, неважно как, об этом сейчас писать никак нельзя. Нет меня, и точка! Если все, что я пишу, мне не приснилось, — я ушел и на этот раз. Дилетант я в этом деле, а профессионалы плохо сработали. Эбби, я к тебе взываю — у тебя так было? Вот я — одиночка. Как же получилось, что я могу сейчас так спокойно писать? Рука не дрогнет, все у меня внутри спокойно — перегорело. Они нас давно всех разобзили, Эбби. Все — поодиночке. А сделать все равно ничего не могут. Да здравствует разобщенность!

Эбби, твои хиппари тебе помогали, я уверен. И мне помогают. Не так, конечно, как тебе. У меня хиппарей-то нет. Мне люди идут навстречу такие — что в жизни не подумаешь! Они нас всех прижали при рождении, Эбби. Думали, это им поможет. А люди вокруг есть, Эбби. Эх, если б можно было рассказать! Их Павлики Морозовы плакали бы от зависти. Плакали бы, что все наоборот получается — не закладывают, а спасают. Эбби, Бог есть. Ты, видать, ни во что не веришь. А Он меня спас. Благодарю, что со мною все это случилось. Ты не думай, что я мазохист. Ты, Господи, сам рассуди: я же тоже люблю комфорт, и боли боюсь. А вот раз выпало — то пошел. А Она за меня молилась. Ты Ей не причиняй страданий, Она только за других старается. Ты вразуми Ее, чтобы Она шею под хомут не подставляла. Я Ее люблю, и буду дальше любить, но пусть Она остановится. Она женщина. Вразуми Ее в любви своей не быть оголтелой. И серым, Господи, ниспошли знак, что ее трогать нельзя. Неужели допустишь, чтобы из-за меня Она страдала? Я замру сейчас. Пусть и Она замрет, сделай так. Пошли этому ЦРУ знак, что мы тихие люди. Помоги начальникам серого и черного обрести разум, не надо Ее трогать. У Нее-то защиты нет. У меня — Она защита, Она защитит. А кто Ее защитит, случись чего? Я тогда выйду. Я не хочу щеку подставить, но как же я тогда перед Тобой оправдаюсь, если они за Нее возьмутся?

И Эбби Хоффмана вразуми, Господи. Пусть поймет, что гоночары за книжку без веры — это библейские кружочки такие, серебряные. Дай Эбби знак, что Сысоев, о котором не слышал он, сейчас просит за него. Дай же силу выдержать цэрэушный натиск, останови опер-машины их! Согни антенны им, бензин преврати в кагор — пусть обожгутся. Рации их силою духа своего выведи из строя.

Сбей контуры их "воки-токов" мощной волей Твоею. Не исполнятся смирения они, знаю я. Красные книжки их кажутся сильнее им духа и слова Твоего. Пусть убедятся они, что книжки Твои важнее всего, что есть у них, верующих в кулак, самбо, в огнестрельное оружие. Понимаю, что не пришла, наверное, пора каяться им. Произойдет это к концу жизни, я думаю. И как станут они на краю, и увидят, что книжки нет, а все остальное бесполезно — тогда и поверят. Молю, если есть, помимо жестокости и расчета у них в голове что-то, пусть подумают и представят свое будущее, хотя бы и на политзанятиях.

Вся хронология пошла к чертям. Я хотел по порядку рассказать, а тут сверху мне спустилось приключение недельное. Я не обижаюсь, думаю, что так надо. Если б не было серых и черных, я б Тебя не увидел. Благодарю, что Ты от нечистой силы нас спас, и я как собрался с мыслями, сразу излагаю все это и говорю: верный знак Ты дал, Господи.



И ДЕЛО ПРОИСХОДИТ В ТОМ ЖЕ ДЕКАБРЕ...

Андрея Дмитриевича я увидел в шесть часов вечера на залитой электрическим светом Пушкинской площади. Насколько известно, это был его последний приход к памятнику в день Прав Человека.

Проходя незадолго перед этим по улице Горького, я зашел в Елисеевский. В винном отделе, среди толпы, я обратил внимание на двух пьяноватых и наглых субчиков. Они толкались около очереди, протягивали щеки поверх голов, брали бутылки. Я вышел за ними. Уверенно раздвигая плечами толпу, двигались они в сторону Пушкинской площади.

Перед памятником царило спокойствие. Кажущееся. Было много фланирующих граждан, лет 30-35. По скверу, между памятником и кино "Россия", прогуливались люди в форме, с рациями через плечо.

Без десяти шесть около Пушкина собралось человек десять тех, кого называют "диссидентами". Их окружила большая толпа. Некоторые задавали вопросы...

— Что случилось? Почему стоят?

Андрей Дмитриевич, мне показалось, был невысокого роста. Ровно в шесть десятков демонстрантов сняли шапки и склонили головы. И тут кто-то бросил в Сахарова снежок. По крайней мере, так показалось сначала. Позже выяснилось, что это был камень, облепленный снегом. Тут внимание мое было отвлечено криками и шумом. Около одного из чугунных фонарей стояла женщина средних лет. Что-то громко и быстро рассказывала она собравшимся. К ней подскочил какой-то мужчина и ударил сзади по голове. После он побежал в сторону кинотеатра. Раздались негодующие возгласы. Минуты через две за напавшим неспешно побежал человек в форме, скрывшись вскоре за поворотом.

Недалеко от Андрея Дмитриевича стоял генерал Григоренко. Он объяснял что-то обступившим его, кивая в сторону академика. Вцепившись в рукав его пальто, стояла рядом жена.

Демонстрация кончилась, но никто не расходился. Я отошел от памятника и двинулся вокруг скверика. Тут я обнаружил интересную личность. Я увидел Джеймса Бонда. Этот холеный, прекрасно выбритый и, по-моему, напудренный джентльмен с насмешливым выражением лица, стоял в кучке случайных зрителей. Одет он был в белую, нежнейшую дубленку. На голове была роскошная, привоз-

ная, песочного цвета, ковбойская фетровая шляпа. Не знаю, был ли у него под меховой полкой кольт, но сопровождавшие его две молчаливые серые личности были явно во всеоружии.

Ковбойский человек спросил вдруг, ни к кому не обращаясь:

— Ребята, а что здесь происходит?

Стоявшие промолчали, а я высунулся:

— Диссидентов бьют...

— Не надо бы, — сказал, с улыбкой глядя мне в глаза, ковбойский Джеймс Бонд.

— Как же не надо, — вдруг почему-то ответил я, не отводя взгляда. — Очень даже надо...

Между тем, толпа перед памятником увеличивалась. На демонстрантов, их друзей и симпатизантов из толпы насакаивали пьяноватые уверенные молодчики. Вот мелькнули два типа, увиденные мной в Елисеевском...

Вокруг Андрея Дмитриевича образовалась цепь. Друзья и сочувствующие сдерживали наседающих. Однако пьяная матерщина, невнятные угрозы и выкрики усиливались. Постепенно толпа передвигалась от памятника к редакции "Известий". На моих глазах высокий, костистый, с худым лицом человек в шляпе и кожаном пальто вдруг схватил кого-то за горло отработанным приемом. Толпа завертела кожаного, кто-то сшиб с него шляпу, и ему пришлось выпустить жертву.

Человеческая масса, с Андреем Дмитриевичем в середине, двигалась через улицу Горького. Движение было полностью перекрыто. На другой стороне улицы, около Института Красоты, толпа снова остановилась. Толпа гомонила, кто-то кричал. Незаметный человек, стоявший около меня внезапно начал оглушительно свистеть. Блюститель порядка, стоявший рядом с патрульной "Волгой", не замечал свиста. Я подошел к нему и спросил:

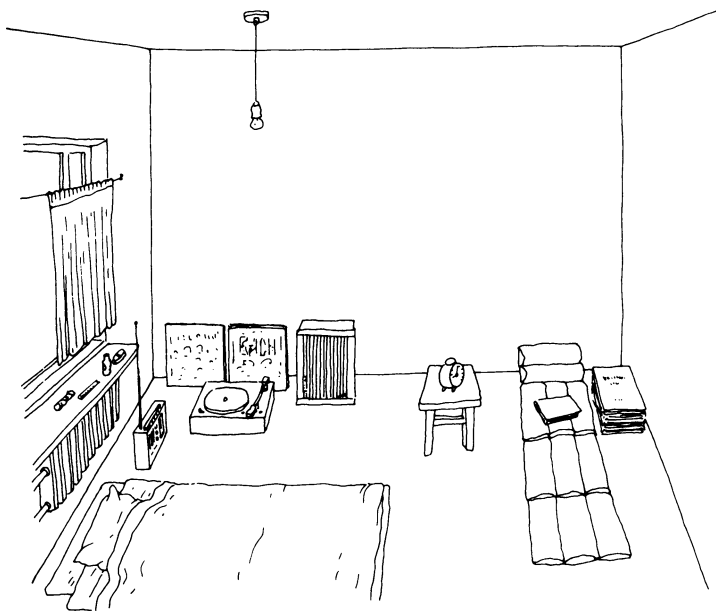
— Почему вы не остановите этого гражданина?

Блюститель посмотрел на меня и отвернулся. Тут же подошел ко мне свистун:

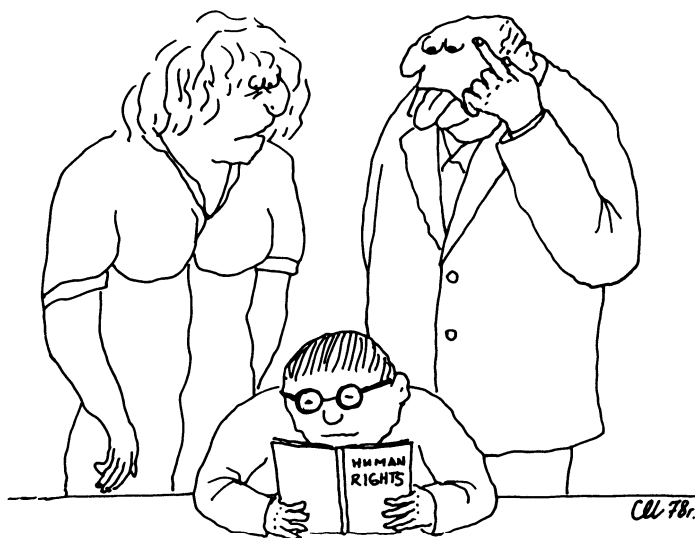
— Хочу и свищу. Нельзя, что ли? А ты — иди, куда шел...

Андрей Дмитриевич добрался до края тротуара. Тут стоял оранжевый жучок- "Фольксваген" — приехала посмотреть на диссидентов иностранная жена одного из художников-нонконформистов. Андрея Дмитриевича посадили в "Фольксваген" Машина двинулась вниз по улице Горького. Две или три "Волги" тут же пошли следом.

Я не принимал участия ни в одной из подобных демонстраций на площади перед памятником Пушкина. А в т о т р а з я был просто зрителем.



ПРИСТАНИЩЕ ДИССИДЕНТОВ.



ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ИЛИ ДОКЛАД "ДВА ГОДА ОТСУТСТВИЯ ПРИСУТСТВИЯ".

На сцене — большой портрет художника Сысоева. Под ним — транспарант: 1979 — 1981.

На трибуну из боковой потаенной двери выходит докладчик. Достает бумагу. Читает.

Уважаемые граждане! Товарищи! Люди и джентльмены!

Сегодня мы отмечаем славную дату — ровно два года назад нас покинул наш товарищ — неизвестный московский неконформист Вячеслав Сысоев (аплодисменты).

Много событий произошло за это время. Часть нашего авангарда уехала, другая часть осталась или умерла. В этот торжественный день надо помянуть добрым словом тех, кто знал и, будем надеяться, любил юбиляра. Не забудем художника Оскара Рабина, его сына Александра, Валентину Кропивницкую, а также Народных Художников Израйля Комара и Меламида. Вспомним и коллекционеров, помогавших юбиляру: Аиду и Владимира Сычовых, Людмилу Кузнецову. А также художников Длугия, Одноралова и многих других.

Общение с этими людьми духовно обогатило творчество В. Сысоева. Разрешите мне добрым словом помянуть также следственные органы и другие организации, которые способствовали привлечению внимания международной общественности к судьбе художника тем, что возбудили против него вздорное дело, обвиняя его в изготовлении и распространении непристойных карикатур (аплодисменты). Не будь этого — никогда не появились бы карикатуры юбиляра в зарубежной прессе, никогда не был бы опубликован во Франции альбом его рисунков под столь близким и родным для всех нас названием "Жить стало лучше".

Действительно, уважаемые граждане, жить нам стало лучше и веселей после того, как любимые персонажи В. Сысоева расползлись из-под его пера по разным странам. Карикатуры В. Сысоева привлекли внимание прогрессивной зарубежной общественности своей злободневностью, страстным обличительным пафосом.

Реакционные силы Запада, сторонники противников разрядки напряженности, заправили биг-бизнеса и продажная буржуазная пресса попытались использовать карикатуры юбиляра в своих подрывных целях.

Ничего у них, граждане, не вышло. Ничего не выйдет и в дальнейшем, господа империалисты! (продолжительные аплодисменты).

Публикуя к а р и к а т у р ы б е з с л о в В. Сысоева, западные средства массовой информации пытались выдать художника за какого-то злобного отщепенца. Так, например, итальянская пресса назвала юбиляра политическим сатириком, а французская реакционная печать утверждала, что Сысоев диссидент с детства. От имени и по поручению художника разрешите мне, со всей ответственностью, заявить: мы гневно протестуем против навешивания ярлыков на нашего юбиляра! (аплодисменты). Как может быть В. Сысоев политическим сатириком, когда в политике он совершенно не разбирается? Кроме того, всю свою сознательную жизнь он старался избегать политики, а сатиру признавал только ту, которая рождалась под пером Кукрыниксов и Бор. Ефимова!

Что касается того, что его называли диссидентом с детства, — это полное недоразумение, если не хуже...

С детства можно, конечно, сохранить какие-то черты характера, склонности и привычки. Могут быть, например, "пенсионеры с детства", "художники с детства", "подонки с детства". Скажите, господа зарубежные фальсификаторы, как мог художник В. Сысоев быть "диссидентом с детства", если само понятие "диссидент" появилось в России менее десяти лет назад? А ведь Сысоеву уже за сорок. Кроме того, как явствует из его записок, он провел свое детство беззаботно, под безоблачным лазурным небом, согреваемый солнцем сталинской демократии. Может быть, уважаемые господа империалисты, вы станете утверждать, что никакой демократии не было в те годы, когда художник еще не ходил, а ползал на коленях? Вспомните тогда своих интеллектуалов, господа? Не они ли пели победную песнь нашей демократии? Может быть, потом они пересмотрели свои взгляды?

Но кто даст гарантии, что завтра ваши новые интеллектуалы не пересмотрят свои сегодняшние взгляды? (смех в зале, аплодисменты).

Вы запутались, господа и граждане. Вот тут вам на помощь и могу прийти карикатуры нашего юбиляра В. Сысоева.

Взгляните еще раз на его рисунки: как просто, четко и конкретно выражает автор свою мысль! Кто может не понять, глядя на его работы, что он хотел сказать?

Разве защита доступными средствами людей от жестокости, насилия, войны — это политика?

Видимо, кто-то на родине художника счел, что его работы носят какой-то двуязычный, иносказательный характер. Причиной тут может служить то, что на своих персонажах художник не ставит

опознавательного знака — “MADE IN...” Он считает, что излишняя навязчивость и примитивное толкование его персонажей свидетельствует о неуважении к зрителям.

Юбиляр со всей решимостью заявил в прошлом году:

Мои персонажи интернациональны. У них нет паспорта, нет прописки.

Трагическое заблуждение следственных органов в отношении творчества Сысоева необходимо рассеять. Сейчас художник лишен возможности нормально заниматься творчеством. Ему пришлось временно уйти из дома — и это в то время, как многие из его творческих планов еще не осуществлены. Он не может показывать на родине свои работы, чем, без сомнения, пользуются враги разрядки, реакционеры всех мастей.

Что касается смехотворного обвинения в порнографии, то как ни привести тут народную мудрость: “Чья бы корова мычала...” (смех в зале, аплодисменты).

Да, Сысоев делал графические работы! Но кто видел его порнографию? Дайте нам этого человека! Может быть, он находится среди собравшихся? Или даст нам свой адрес? (оживление в зале).

Порнография — это могучее средство в борьбе с опиумом для народа. В своем открытом письме в редакцию журнала “Контингент”, юбиляр писал несколько месяцев назад, с иронией, конечно: “Сейчас, находясь в подполье, приступаю, наконец, к Всемирной Сексуальной Революции.”

Небезызвестный Эбби Хоффман, много лет скрывавшийся от кровавого ЦРУ и погромного ФБР заявил, что “в подполье — сыро”.

Можете ли вы себе представить, уважаемые товарищи и граждане, каково же сейчас нашему юбиляру — если в хваленной, сытой, изобильной и нищей духовно Америке, в подполье было, видите ли, сыро?

Ждут художника близкие друзья. Но нет, не появится он на пороге! Ждут его, скажем прямо, не только друзья. Ждут те, кто должен выполнить чей-то приказ — арестовать его. Это несправедливый приказ, и наша задача, уважаемые граждане, товарищи, люди и джентльмены, постараться приложить все усилия, чтобы он был отменен (бурные аплодисменты).

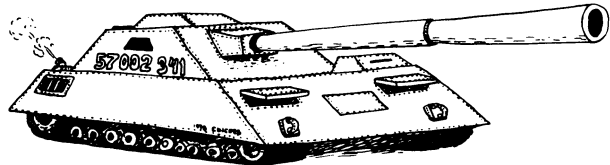
Отсутствие присутствия сегодня среди нас В. Сысоева — лучшее доказательство присутствия у него чувство юмора. А юмор, граждане, товарищи и джентльмены, помогает жить весело и преодолевать многочисленные трудности, которые еще встречаются иногда в западном мире, потрясаемом кризисом.

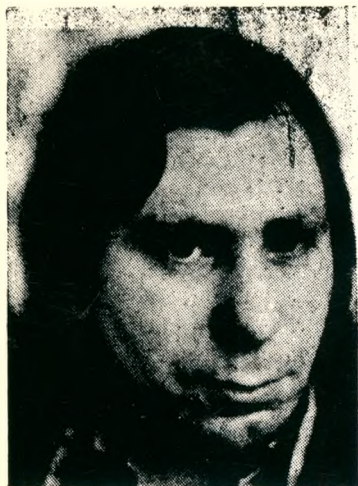
В заключение хотелось бы пожелать юбиляру, чтобы эта двух-летняя годовщина стала последней. Хотелось бы также, чтобы друзья художника узнали, что он жив, продолжает работать, рисовать и даже писать (аплодисменты).

Тут выступающий срывает вдруг с себя маску, и все видят, что это — сам Сысоев, бледный, взволнованный, озирающийся (шум в зале).

— Я хотел сказать вам, — невнятно бормочет он...

— Ты сказал уже достаточно, — говорит кто-то из зала...





Вячеслав Сысоев родился в 1937 году. С 1974 года принимал участие в движении художников-нонконформистов. Выставлялся в Москве и Ленинграде, а также на Западе — Европе и США. Во Франции в 1980 году вышла посвященная его творчеству монография. Карикатуры В. Сысоева не раз появлялись на страницах зарубежной русской прессы, итальянских, французских, немецких газет и журналов. 8 февраля этого года Вячеслав Сысоев был арестован в Москве органами госбезопасности и сейчас находится под следствием.

